

ТЕОДОР ЕСКЕ-ХОИНСКИЙ

ПОСЛЕДНИЕ РИМЛЯНЕ

История в романах

Теодор Еске-Хоинский

Последние римляне

«Public Domain»

1897

УДК 821.162.1
ББК 84(4П)

Еске-Хоинский Т.

Последние римляне / Т. Еске-Хоинский — «Public Domain»,
1897 — (История в романах)

ISBN 978-5-486-03898-3

Теодор Еске-Хоинский (1854–1920) – польский критик, романист и публицист, автор ряда произведений на исторические темы; один из наиболее ярких поборников консерватизма. Публикуемый в данном томе роман «Последние римляне» повествует о начале заката Великой Римской империи. Конец четвертого века. На престоле два императора: Феодосий в Константинополе, а в Риме – признанный им соправителем Валентиан II. Конфликт между последним и его полководцем, королем франков Арбогастом, приводит к смерти Валентиана, и на его место Арбогаст назначает своего ставленника Евгения. Феодосий, стремясь укрепить свою власть и отомстить за смерть соправителя, выступает против Арбогаста, – и это не просто борьба за власть. Христианский Константинополь противостоит языческому в основном Риму. И, побеждая, делает фактически последние шаги к разделу империи на две части: Восточную и Западную.

УДК 821.162.1

ББК 84(4П)

ISBN 978-5-486-03898-3

© Еске-Хоинский Т., 1897

© Public Domain, 1897

Содержание

Часть I	6
I	6
II	15
III	25
IV	33
V	49
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Теодор Еске-Хоинский

Последние римляне

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2011

© ООО «РИЦ Литература», 2011

Часть I

I

Дворец Аврелия Симмаха, находившийся в Риме на Триумфальной улице, растворил первого ноября триста девяносто первого года по Рождеству Христову настежь свои ворота для всех родственников, друзей и клиентов¹.

Громадное здание сверху донизу тонуло в венках из мирта и плюща. Рабы убирали его целую неделю. По колоннам портика, обвитым гирляндами виноградных листьев, они развесили белые ковры, воду в фонтанах подкрасили цветными маслами, дорожки в саду усыпали лиловыми цветами шафрана.

Еще вечерние сумерки не стерли с фронтонов храмов и общественных зданий последние отблески заходящего солнца, как во всем городе поднялись шум и движение, словно весной в улье. Торговцы раньше, чем обыкновенно, запирали свои лавки, разносчики складывали свои лари, ремесленники бросали инструменты. Свободные граждане, имевшие право носить тогу, накидывали ее на себя и оставляли дома, чтобы следовать за толпой, плывущей по всем улицам по направлению к Копенским воротам. Наиболее состоятельные, которые могли платить за места, усаживались на подмостках, устроенных вдоль тротуаров.

Весь языческий Рим хотел принять участие в торжестве, которое устраивалось во дворце Симмаха, так как этот сильный человек, известный оратор и писатель, богатейший из сенаторов Италии, консул текущего года, защищал народных богов, подвергая опасности свою жизнь и состояние. В своем рвении он не боялся даже гнева императора Феодосия. Если бы не он и не его близкий друг, человек столь же сильный, префект Никомах Флавиан, на Капитолии блесстел бы крест галилеян.

Эти два римлянина, державшиеся старых обычаев, скрепляли сегодня союз дружбы кровными узами: Симмах выдавал свою дочь Галлу за сына Флавиана. Когда на небе покажется первая звезда, запыхают тысячи факелов и из дворца выступит свадебный поезд, отец, окруженный родственниками и гостями, отведет молодую девушку на Виминал, в жилище Флавианов. И весь языческий Рим высыпал на улицы, чтобы выказать защитникам народных богов свою признательность и благодарность.

Вблизи триумфальной арки Константина, напротив амфитеатра, собралась кучка горожан. Они, видимо, не принадлежали к друзьям Симмаха и Флавиана, так как не почтили семейного торжества праздничными платьями. В обыкновенных осенних туниках с длинными рукавами вышли они на улицу и равнодушно смотрели на людские волны, которые заполняли театральную площадь.

– Если бы Амвросий Медиоланский был во главе римской общины, идолопоклонники не издевались бы с таким бесстыдством над истинным Богом, – сказал низкорослый, худой горожанин в потертой тоге. – Наш же епископ целуется с Симмахом, а Флавиана зовет своим другом. Остыло в нас рвение к вере.

Он указал на амфитеатр и продолжал:

– Может быть, вы скучаете о том времени, когда наши мученики забавляли в этих проклятых стенах своими страданиями сброд язычников?

Глаза христиан обратились в сторону громадного здания, которое кровавыми буквами записано в истории новой веры.

¹ *Клиенты* – одна из самых низших социальных групп в древней Италии, римский плебс.

– Ты вызываешь страхи, погребенные навсегда, – проворчал молодой солдат. – Уже сто лет, как мы публично молимся в своих церквах, признанные правительством. На нашей стороне стоят императоры, им же скоро останутся только одни воспоминания.

Худой горожанин в потертой тоге встrepенулcя.

– Воспоминания! – вскричал он. – Воспоминания не ходят по улицам в пурпурных сенаторских тогах, не живут во дворцах, не занимают высоких должностей. Что нам из того, что императоры молятся истинному Богу? Несмотря на это, Зевс до сих пор господствует в Капитолии, до сих пор приносятся жертвы, как будто распоряжения Феодосия и Валентиниана изданы на ветер. Константинополь и Виенна² приказывают, а Рим не слушается; император уничтожает идолопоклонство, а префект претории, его ближайший заместитель, закалывает собственной рукой белых быков и советуется перед каждым важным делом с гадателями. Все мы знаем, что Никомах Флавиан, не колеблясь, сослал бы нас в сардинские рудники, если бы нас не охраняла сила цезарского имени. А кто виноват, что этот яростный язычник распоряжается в Риме, как будто свет истинной веры прячется еще боязливо в подземельях кладбищ? Вместо того чтобы выйти на улицу и потребовать выполнения цезарских указов, мы ежедневно позволяем идолопоклонникам пренебрегать ими. Мы спокойно смотрим на их отвратительные суеверия, сходим с дороги, встречая их смешные процессии, со смирением и покорностью принимаем участие в их празднествах. Если бы мы пошли всей толпой на Палатин и заявили единогласно: «Не хотим идолопоклонства, хотим, чтобы указы цезаря осуществились на деле!», – то божественный Феодосий узнал бы в Константинополе и тотчас Зевс должен был бы уступить нашему Агнцу. Переноса без отпора дерзость врагов Церкви, мы сами подтверждаем ложные донесения, которыми Флавиан засыпает без устали двор в Константинополе и Виенне. Он-то и внушает правительству, что мы в древней столице государства составляем такое незначительное число, что с нами не стоит и считаться. Он и этот лукавый Симмах умышленно вводят божественных императоров в заблуждение, чтобы отдалить победу истинного Бога.

Глухой ропот прошел в толпе христиан. Они сочувственно кивали головой оратору.

– А я говорил, – отозвался какой-то сапожник с фиолетовым носом пьяницы, – что надо было подавать голоса за Прокопия. Если бы он управлял общиной, то епископ не брался бы с язычниками.

Прокопий усмехнулся.

– Сами мы виноваты, – продолжал он, – что эти язычники располагаются в Риме, как будто бы нас совсем не было. Они правят в сенате, заседают на Палатине, живут в лучших частях города, а мы держимся в стороне и гнием в грязных норах по закоулкам.

– И наши заседают в сенате, – заметил молодой солдат.

– А сколько их? – закричал Прокопий с гневом. – Мы все должны быть в Капитолии, так как Рим принадлежит нам. Наши предки завоевали его своим мученичеством. Не для того первые христиане гибли на аренах, чтобы их потомки служили этим языческим псам. Довольно поцарствовали они, теперь наш черед.

– Станем на будущих выборах подавать голоса за Прокопия! – крикнул портной. – Если бы епископ думал так, как он, нам лучше бы жилось на свете. На что Симмаху столько садов? Тот, который за Тибром, пригодился бы для моих детей, было бы где им поиграть.

– Консул вчера приказал резать сто волов для угощения этих дармоедов, а благочестивый христианин не видит куска мяса за целую неделю, – отозвался торговец овощами. – Хотя бы кого-нибудь из нас пригласил. Но язычник не подумает о том, что и поклонник истинного

² *Константинополь*, прежде называвшийся Византией, со времен Константина Великого был столицей Римской империи. *Виенна* в 391 и 392 гг. была резиденцией императора Валентиниана II, царствовавшего одновременно с Феодосием, который жил в Константинополе.

Бога охотно бы подкрепил свои силы за пиршественным столом. Ради чего милосердный Агнец страдал на кресте, когда они захватывают лучшие дары земные?

– Ради того, – вмешался солдат, – чтобы научить нас пренебрегать наслаждениями сего мира.

Сапожник громко рассмеялся:

– Эх ты, молокосос! Если тебе хочется мученичества, то запишись в наш цех, а палка моего подмастерья подготовит тебя к небесному венцу.

– Вы ссоритесь, – отозвался Прокопий, – а Симмах тем временем доказывает всему свету, что Рим не перестал быть местопребыванием языческих предрассудков, и единственно с этой целью отдает свою дочь во дворец Флавианов. Мы не были бы верными слугами истинного Бога, если бы не помешали этому гордому язычнику совершать те старинные римские обряды, о которых давно забыли даже жрецы Зевса.

В толпе христиан вторично прошел глухой ропот.

– Слушайте Прокопия, он дает хороший совет, – сказал сапожник.

– Они еще слишком сильны, – заметил торговец овощами.

– Трусов страшит даже вид детей! – презрительно сказал Прокопий. – Да мы их забросали бы сандалиями, если бы только захотели.

– Конечно! Разумеется! – повторяли кругом.

Христиане окружили Прокопия и совещались вполголоса. Потом они разбежались по площади амфитеатра.

Когда все это происходило на улицах Рима, во дворце Симмаха в приемной зале, убранной цветами и коврами, собралось более ста гостей обоего пола. Все платья, мужские и женские, украшала широкая пурпурная полоса – признак сенаторского рода, руки были покрыты перстнями и браслетами. В волосах, на шеях и башмаках женщин блестели жемчуг и драгоценные камни, которые сверкали при свете многочисленных ламп с колпаками из александрийского стекла.

Все это блестящее общество приносило поздравления пятнадцатилетней девочке, смущенной предупредительностью важных мужчин и матрон. С глазами, опущенными книзу, в покрывале огненного цвета, Галла, единственная дочь консула Симмаха, в молчании слушала доброжелательные слова друзей своего отца. Горячий румянец не сходил с ее красивого, свежего лица, заключенного в рамку густых темных волос, уложенных по стародавнему обычаю римских невест в шесть рядов.

Мужчины были облачены в длинные тоги, достигающие до щиколоток. Эта одежда уже выходила из употребления в конце четвертого столетия.

Только один из гостей Симмаха не облекся в национальное римское платье и не принимал участия в беседе, которая велась вполголоса. На нем, сверху шелковой желтой туники, была серебряная кольчуга, а на кольчуге – воинский плащ греческого покроя, называвшийся хламидой, застегнутый на правом плече большим аметистом. В одной руке он держал золоченый шлем, а другой опирался на рукоятку короткого меча.

В затруднительном положении оказался бы тот, кто пожелал бы определить его национальность, очевидно, что это было дитя двух рас. Одна дала ему черные, огненные глаза и смуглый цвет лица южанина, другая покрыла его голову белокурыми волосами. Несмотря на высокое положение, которое он занимал в легионах, о чем свидетельствовала широкая лента, опоясывающая его бедра, и золотая цепь с портретом цезаря Валентиниана, ему было не более тридцати лет.

Видимо, он был чужим среди гостей Симмаха, так как стоял один, в стороне ото всех. Остальные не особенно доброжелательно посматривали на него. Его взгляд свободно скользил по лицам римлян, и если останавливался дольше, то только на мраморных изваяниях знаменитых полководцев и граждан, стоявших вдоль стен, как будто он сравнивал живых с умершими.

Погруженный в свои мысли, он не заметил, что один из младших сенаторов отделился от группы, с которой вел разговор, и подошел к нему, и только тогда обернулся к патрицию, когда услышал его тихий голос.

– Приветствую тебя в столице, знаменитый воевода, – сказал сенатор, – и пусть ласки римлянок заставят тебя забыть о прелестях цезарского двора.

– Благодарю тебя за добрые пожелания, славный претор, – отвечал тот, которого сенатор назвал воеводой, – но я не думаю, чтобы они могли осуществиться.

– Я вижу, что ты пришел к нам с предубеждением советников божественного Валентианиана.

– Посмотри, как неприязненно глядят на меня в доме консула.

– Мы неприязненно встречаем только тех, кто умышленно выказывает нам пренебрежение. Твой оруженосец должен был тебе объяснить, что римский обычай не допускает, чтобы гости переходили через порог нашего дома в военных доспехах, с оружием в руках.

– Оружие и доспехи римского воина не должны оскорблять глаз римлянина. Я ношу одежду и знаки нашего божественного и бессмертного государя.

Сенатор замолчал, едва улыбнувшись, и через несколько времени прибавил:

– А все-таки я советовал бы твоей знаменитости сообразоваться с нашими обычаями, если ты имеешь намерение провести с нами несколько времени – мы придерживаемся старых обычаев и очень упрямы...

– Языческие обычаи не обязательны для христианина, – отвечал воевода.

Сенатор пожал плечами.

– Если я надоел тебе своими замечаниями, то прости меня, – холодно сказал он, – мне казалось, что я могу предостеречь хорошего знакомого. Все-таки мы провели когда-то вместе несколько веселых недель в Виенне. Это дает право на искренность.

В это время перед занавеской, закрывавшей боковой коридор, который соединял залу со следующими комнатами, показался ликтор³ и поднял кверху свой пучок розог.

По его знаку шепот и смех затихли, присутствующие расположились вокруг домашнего жертвенника.

Вслед за ликтором шла молодая женщина в белой широкой одежде без всяких украшений. На лбу у нее была повязка такого же цвета с лентами, которые спадали по обе стороны ее лица. С ее левого плеча свешивался пурпурный плащ.

Все склонили головы перед ней с глубоким уважением, она же, казалось, не обращала внимания на эти знаки почета. Она шла спокойно, не глядя на окружающих, со взором, опущенным книзу. Когда она подошла к жертвеннику, то скрестила руки на груди и низко поклонилась священному огню.

– Римлянка! – шепнул воевода.

– Да, римлянка, – сказал сенатор. – Присмотрись хорошенько к этому истинному отпрыску «волчьего племени», ибо это Фауста Авзония, племянница префекта Флавиана. Ее предки еще до консулов носили всаднический перстень. Вот она, может быть, примирила бы тебя с нашими обычаями.

Воевода молчал. С первой минуты, как только Фауста Авзония показалась в зале, он был приятно изумлен. Эта высокая, стройная фигура,двигающаяся с достоинством царицы, действительно напоминала матрону Древнего Рима. Несмотря на молодые годы, на ее лице отражалось спокойствие зрелого человека. Черные волосы с гранатовым отливом выбивались из-под повязки, черные брови почти сходились над орлиным носом.

– Не утруждай понапрасну глаз, – отозвался сенатор, – она дева – жрица Весты! Стрелы бога любви падают бессильно у ее ног, точно гнилые щепки.

³ Ликтор – должностное лицо при высших магистратах и жрецах в Древнем Риме.

- Весталка? – проговорил воевода, не отрывая взгляда от Фаусты.
- Жрица нашего народного огня.
- Какая жалость...
- Не ты первый высказываешь сожаление, что сердце Фаусты замкнуто навсегда для любви.
- Навсегда ли? – спросил воевода с недоверием.
- Ты в Риме, – отвечал сенатор, – а у нас еще сильны старые боги, несмотря на угрозы из Константинополя и Виенны. Месть оскорбленного народа разорвала бы в клочья того, кто осмелился бы унижить девственницу весталку нечистым вождением.
- Мстительность вашего народа раздробится о волю божественных императоров.
- Не одна только чернь приносит жертвы в храмах Рима.
- И сопротивление вашей знати вскоре сокрушится перед могуществом креста.
- Ты так думаешь?
- Я знаю это.
- Не с чувством приязни прибыл ты к нам, Винфрид Фабриций, – сказал сенатор.
- Моей любви к истинному Богу я никогда не прикрывал лживым словом, – отвечал Винфрид, – о чем Кай Юлий Страбон должен знать со времени нашего совместного пребывания в Виенне.
- Я думал, что время притупило острие твоей религиозной нетерпимости. Только молодость кичится беспощадностью.
- Глубоко прочувствованная вера не стынет с годами. Не любит Бога тот, кто входит в сделки с его врагами.
- Когда воевода говорил это, его лицо приняло выражение непреклонности.
- По крайней мере ты искренен, – пробормотал сенатор.
- Прошло то время, когда искренность была печальной добродетелью христиан, за которую они расплачивались на арене амфитеатра. Теперь даже трус может прославлять во всеуслышание распятого Христа.

В зале поднялось движение. Все общество устремилось к коридору, на пороге которого показался человек лет пятидесяти с лишком, среднего роста, одетый в красную, затканную золотом тогу консула. Это был Квинт Аврелий Симмах.

Хотя известный оратор и писатель стоял вместе с префектом Флавианом во главе староримской партии, но происходил он, по-видимому, не из рода патрициев, статуями которых украсил свою залу. У него не было круглого, выпуклого на висках черепа, ни орлиного профиля, ни холодной гордости в глазах и линиях рта. Его продолговатая голова, высокий лоб, образующий с носом прямую линию, умные глаза, борода с проседью скорее напоминали тип греческого мудреца.

Симмах с признательностью благодарил гостей за то, что они во множестве стеклись на его семейное торжество. Сенаторов он целовал в губы, а их жен и дочерей одаривал ласковым взглядом. И, только заметив воеводу, он слегка нахмурил брови, а на его широких губах угасла приветственная улыбка. Пригласив только что присланного из Виенны начальника легионов, стоявших гарнизоном в Италии, он почтил его как представителя императора.

Поздоровавшись с каждым отдельно, Симмах подошел к жертвеннику. По стародавним римским преданиям доисторических времен он был верховным начальником рода, жрецом домашнего культа. Только он один имел право сноситься непосредственно с душами предков и разрешать узы, соединяющие членов семьи с очагом. Без его разрешения никто не мог перейти на служение другим духам-покровителям. И лишь с того времени, когда он своей отцовской властью освободит Галлу от обязанностей, связывающих ее с традициями Симмахов, девушка может дать своему жениху клятву в верности на всю жизнь. Как только руки мужа перенесут ее через порог дома Флавианов, для нее погаснет навсегда очаг родного гнезда. Души ее предков

не последуют за ней под чужой кров, где благоденствие рода охраняют иные невидимые покровители. Она сольется не только телом, но и верой, чувствами, целями жизни с Флавианами, составляя с ними такое нераздельное целое, как будто она родилась и воспиталась в их среде.

Отец, пока не передаст ее в руки мужа, должен прежде всего умолять богов рода за ее отступление от культа, в поклонении которому протекла ее молодость.

Воевода, сын аллемана, служивший в отряде телохранителей Грациана, воспитанный христианскими священниками, находившийся долгое время в ближайшей свите Валентиниана, не мог объяснить себе зрелище, свидетелем которого он был.

Правда, он слышал, что в западных провинциях Империи, в особенности в Италии и Галлии, некоторая часть населения еще противилась новой вере, но никогда не предполагал, что язычество насчитывало столько сторонников в высшем слое общества. Все эти язычники, окружавшие домашний алтарь хозяина, занимали в администрации города и страны высокие должности. Тут были не только богатейшие, но и наиболее влиятельные люди Италии.

Искренне ли они верили, что в огне, тлеющем на жертвеннике, живут души предков Симмаха, знающие судьбу рода, к которому они когда-то принадлежали?

Пока воевода раздумывал над этим, в тишине, царившей в зале, раздался звучный голос консула.

– В силу моей отцовской власти, – медленно и с расстановкой говорил Суммах, – я снимаю с тебя, Галла, бремя обязанностей, с которыми ты родилась на свет, и отдаю под покровительство домашних богов Флавианов, дабы ты отныне была их верной служительницей.

Он замолчал и с минуту смотрел на пламя жертвенника, потом протянул руки и заговорил далее взволнованным голосом:

– В тебе, священный огонь, олицетворение римских добродетелей, покоится последняя надежда приверженцев старого порядка. До тех пор, пока наши матери, жены и дочери будут прибегать к тебе с любовью и верой, до тех пор твоих поклонников не одолеет надменность восточного суеверия. Пылай же вечно, чистый и бессмертный, и будь той таинственной силой, которая объединяет мысли и чувства всех членов семьи одной целью. Будь связующим звеном между нами и душами предков, чтобы мы не забыли о доблестях, которые дали им господство над миром. Свети нам везде за нашей работой – в совете и на поле брани, ибо в настоящее время больше, чем когда-либо, мы нуждаемся в твоём животворящем тепле. Честь тебе и хвала, святой домашний очаг!..

– Честь тебе и хвала! – повторили шепотом несколько десятков голосов.

Первая часть обряда была окончена. А свадьба вместе с торжественным обедом должна произойти в доме Флавианов.

Спустя полчаса, когда на небе засверкала вечерняя звезда, ворота дворца отворились и со двора двинулся свадебный поезд. Шествие открывал сотник городской стражи, ведущий за собой отряд слуг, которые шли тремя рядами мерным шагом регулярного войска. Вслед за ними теснилась многочисленная толпа гостей Симмаха в тогах и с венками на головах. Они шли впереди золоченых носилок Фаусты Авзонии, которая покоилась на пурпурных подушках, покрытая белым покрывалом. Весталку несли восемь черных рабов в красных туниках, а ликтор с пучком розог на плече охранял ее.

Воевода, окруженный предводителями римского гарнизона, сидя на коне, сверху смотрел на жрицу. На головах воинов блестели золоченые шишаки, а шелковые плащи переливались разными красками в мигающем свете факелов.

За главой процессии вилась длинная змея, отливающая яркими цветами. Каждого сенатора несли рабы различных народностей – белые, черные, смуглые: одни в голубых туниках, другие в розовых, зеленых, фиолетовых, желтых, красных, и все с цветами в волосах и на платье.

В самом конце четыре белых коня везли колесницу из слоновой кости, в которой торжественно стояли Симмах с дочерью и зятем. Тут же, за колесницей, шла мать невесты, Рустианиана, неся в руке факел Гименея. Два ряда девиц в белых длинных платьях шли по обеим сторонам молодых.

Поезд замыкала толпа вольноотпущенников и рабов Симмаха.

Буря рукоплесканий и криков радости встретила консула и его гостей. Вдоль Триумфальной улицы блестели тысячи огней, развевались тоги и плащи. С крыш и подмостков на пышную процессию падал дождь цветов.

– Честь тебе, Симмах, отец отечества! – гремела толпа, подымая высоко кверху факелы.

А консул наклонял голову и благодарил народ за участие в его семейном торжестве.

Правда, то тут, то там из-за угла слышен был свист или насмешливый хохот, но шум толпы покрывал эти зловещие голоса.

Когда миновала первая радость и наступила минута отдыха, тотчас же в вечерней тиши разнесся свадебный гимн. Его пели девицы, окружавшие колесницу молодых, под аккомпанемент флейт. Они пели о любви и счастье у домашнего очага и к каждой строфе прибавляли: «Tatassi! Tatassi!»

Толпа подхватила это слово, принесенное далеким эхом прошлого. Никто не понимал его значения, но все знали, что когда-то, еще во времена первых царей, оно было вестником свадебного веселья.

Сопровождаемая со всех сторон гулом радостных восклицаний, процессия двигалась по Триумфальной улице к арке Константина, с каждой минутой становилась гуще, так как толпа присоединялась сзади к слугам Симмаха и принимала такое живое участие в торжестве, как будто сама принадлежала к числу его домашних. Языческая чернь тешилась блеском своих вельмож. Глядя на их могущество, она сама чувствовала себя сильной.

– Tatassi! Tatassi! – раздавалось кругом – выше кровель домов и храмов, и дальше, до Латеранского дворца, где римский архиепископ Сириций опечаленно слушал эти зловещие крики.

Уже давно язычники не проявляли себя так всенародно.

В то время как процессия приближалась к триумфальной арке Константина, со всех сторон вдруг раздался крик и продолжительный свист. Их было так много, что они смутили гармонию свадебной песни и, вторгнувшись в однообразные аккорды гимна, нарушили его серьезную важность.

– Галилеяне! – закричал кто-то в толпе.

– Галилеяне! – подхватил другой, десятый, сотый, и все эти возгласы слились в один мощный крик, дышащий мстостью.

Потом на несколько мгновений настала тишина, такая томительная и тягостная, какая бывает в лесу перед бурей. В этой тишине раздался громкий голос Симмаха:

– Не обращайтесь на злобу галилеян! Не расступайтесь! Tatassi! Tatassi!

Но язычники уже не ответили консулу радостным криком. Со всех сторон слышалось:

– Поклонники идолов!

– Поклонники суеверий!

Крыши, зубцы стен, ступени храмов, колонны портиков, казалось, издевались над свадебным поездом, который медленно подвигался вперед.

Когда он миновал амфитеатр, на него сверху посыпался град камней. Один из них попал в голову весталке.

Первым это заметил Винфрид Фабриций. Соскочив с коня, он подбежал к жрице.

– Ты ранена? – спросил он и схватился за ее покрывало.

Но Фауста Авзония придержала покрывало быстрым движением руки. Римский обычай наказывал смертью каждого мужчину, который осмелился бы прикоснуться к весталке. Это право принадлежало только верховному жрецу.

Большие черные глаза весталки с удивлением остановились на воеводе.

Он, догадавшись о причине ее изумления, заговорил быстро, понизив голос:

– Если я нарушаю ваш обычай, то меня оправдывает важность минуты. Я вижу кровь на твоём виске.

Фауста Авзония ответила воеводе за его заботливость благодарным взглядом.

– Рана моя так незначительна, что я ее почти и не чувствую. Не обращай на нее внимания, иначе она могла бы стать причиной большого несчастья.

Когда она это говорила, то в ее густом альтовом голосе слышались мягкие тона.

Но ликтор, который шел около нее, заметил уже рану на ее виске. Он поднял кверху свой пучок и закричал:

– Римляне! Галилеяне оскорбили жрицу Весты.

К ликтору подбежали стражники города.

– Жрицу Весты оскорбили! – повторили несколько голосов.

Слух этот вихрем пролетел по процессии, усиливаясь по пути.

– Оскорбили! Ранили! Убили Фаусту Авзонию! – гремело кругом.

Толпа заколыхалась. Те, кто шел сзади, старались пробиться вперед, силясь добраться до места происшествия. Напрасно сотник старался восстановить порядок, даже сенаторы вышли из носилок и присоединились к толпе.

Тысячи кулаков поднялись кверху, из тысяч грудей вырвался крик мести:

– Галилеян на арену!

– Идолопоклонники! – отвечали христиане, которые толпами наплывали из всех боковых улиц.

Ненависть кипела уже всюду. Язычники сбрасывали тоги, связывающие их движения, христиане заворачивали рукава туник. Женщины и дети подбирали камни и подавали их отцам и мужьям.

Винфрид Фабриций обратился к своим подчиненным и отдал приказ:

– Пусть палатинский отряд восстановит порядок! Остерегаться кровопролития!

Трибуны, пробившись через толпу, понеслись полным галопом к Палатину, а воевода, вынув меч, хотел приблизиться к Авзонии, но дорогу ему преградили клиенты Симмаха и городская стража.

Несколько десятков человек окружили носилки жрицы, защищая к ней доступ.

– Расступиться! – крикнул воевода.

Никто не тронулся с места. Ему отвечал только грозный ропот. Трудно было пустить в ход свою силу.

Винфрид посмотрел на весталку. Она стояла в носилках выпрямившись, с надменно поднятой головой. Кругом нее кипела свалка, скрещивались проклятия, призывы, стоны, а она бестрепетно смотрела на толпу. Фауста казалась еще более бледной, и ее сдвинутые брови образовали почти прямую линию.

– Римлянка! – прошептал Винфрид, смотря исподлобья на Фаусту.

От нее его отделяла высокая и крепкая стена, сложенная из понятий, убеждений и обычаев длинного ряда веков, доступ к ней преграждала религиозная ненависть, взрыва которой он был свидетелем.

Со стороны Палатина уже доносились короткие слова военной команды.

Толпа, теснимая отовсюду легионерами, начала подаваться. Солдаты напирали щитами, разбивая ряды буянов.

Свадебная процессия снова двинулась кверху, к Виминалу, но радостные крики народа уже не вторили пению девиц.

Осторожно, как будто испуганная, вилась блестящая змея по опустевшей площади амфитеатра. А за ней по боковым улицам следовал ропот ненависти, развиваясь все дальше и дальше, пока не охватил весь город...

II

На следующий день во дворце префекта претории⁴, на Палатине, обычные дела шли своим чередом.

Два солдата, стоящие на карауле перед главными дверями, лениво, скучающе ходили вдоль портика взад и вперед. Время от времени, когда приближался какой-нибудь сановник, они останавливались и, выпрямившись, опускали мечи.

Прилив и отлив живой волны перед префектурой не уменьшался ни на минуту. Одни входили, другие выходили.

К очагу высшего начальника Италии, Иллирии и Африки тянулись сенаторы и всадники, чиновники и плебеи, горожане и сельские жители. В толпе виднелись атлетические фигуры светловолосых германцев из Реции, сухих, опаленных африканским солнцем жителей Массилии и Нумидии, стройных славян с берегов Адриатики и коренастых, подвижных, черноглазых лигурийцев.

Все эти подданные «божественного и вечного» императора шли к его наместнику со своими собственными или государственными делами. Один жаловался на сборщиков, другой уплачивал подати, третий должен был дать объяснение относительно беспорядков, которые допустил в городском управлении, четвертый прибыл за приказами.

В большой приемной зале их ждал Никомах Флавиан, человек, известный своей справедливостью во всей Империи и уважаемый даже христианами. Мздоимец или насильник знали, что не найдут побрякушек перед трибуналом префекта. Сила золота, столь могущественная в других провинциях государства, что ей покорялись даже императоры, теряла свое значение в пределах стен дворца наместника Италии, Иллирии и Африки. Еще никто не покупал расположения Флавиана.

Обиженный сильным или бесчестным человеком представал перед лицом префекта полный надежды. Никомах Флавиан выслушивал каждого и был справедливым к самым бедным.

Уже в преддверии дворца была заметна тяжелая рука энергичного повелителя. Его многочисленная прислуга – глашатаи, ликторы, солдаты, сидевшие на лавках вдоль стены, разговаривали вполголоса, чутко присматриваясь к малейшему колебанию занавески, заменявшей дверь. Чиновники двигались тихим шагом, не было слышно ни громкого голоса, ни смеха.

Тут же, при самом входе, в маленькой комнате, предназначенной в частных домах для привратника, помещались двое переводчиков. Каждый из них знал несколько языков. Они записывали в больших книгах имена прибывших, просматривали их документы и давали указания.

Один из них, немолодой уже грек, бросил на стол трость, употребляемую для письма, встал со стула и подошел к бронзовому сосуду, в котором тлели угли.

Грея себе руки, он ворчал:

– Уж скоро обеденная пора, а этот сброд все тянется и тянется, хотя бы по крайней мере эта потеря времени оплачивалась чем-нибудь, а то в вашем подлом Риме ничего не заработаешь.

– Мы получаем больше жалованья, чем переводчики в восточных префектурах, – отвечал другой тихим голосом, посмотрев осторожно на занавеску.

Грек презрительно скривил губы.

⁴ Император Константин разделил Римское государство на четыре «префектуры». Эти префектуры распадалась на 12 «дионезий» и 96 провинций. Во главе каждой префектуры стоял «префект претории», наивысший римский чиновник, принадлежащий к личному совету государя. Говорить с ним надо было, поклоняя колени.

– Кто говорит о жалованье? – сказал он. – Это годится лишь для дураков и неумелых. В восточных префектурах умный человек побочными доходами наберет вдвое больше жалованья.

Второй переводчик опять посмотрел на занавеску.

– И у нас прежде было иначе, – сказал он. – При прежнем префекте слуги цезаря не голодали и не ютились по чердакам. Почти каждый день перепало по солиду⁵, и никто этому не удивлялся: что за ущерб государству, если бедный чиновник старается увеличить свой скудный заработок.

Лицо грека искривилось гаденькой улыбкой.

Подойдя к товарищу, он склонился к нему и заговорил шепотом:

– Государству не бывает никакого вреда, когда такие бедняки, как ты и я, поживимся чем-нибудь из его полных яслей, но это вредит добродетели, староримской добродетели, ибо добродетель должна спать на голых досках, пугать людей лохмотьями, ходить всегда с суровым лицом и пустым желудком. Добродетель – это тот глупый пес, который предпочитает скорее издохнуть с голоду, чем дотронуться до кости, вверенной его надзору. Добродетель должна иметь такой вид...

Он весь сморщился, нахмурил брови, втянул в себя щеки и живот и принял угрюмый вид.

Другой переводчик приложил ладонь ко рту, чтобы громко не расхохотаться.

– И ходить так, – добавил грек, шагая около стола с преувеличенной важностью.

– Симонид, перестань, я лопну со смеха!

– Не лопнешь, нечему в тебе лопаться. Пустые кишки не лопаются.

– Кто-нибудь может войти.

– Пусть его поглотит христианский ад! – проворчал грек. – Надоело мне вести бесплодные разговоры со всяким бараном.

– Ты умеешь о себе позаботиться, – заметил второй переводчик.

– Это то, что я поймаю когда-нибудь несколько сестерций? Хороша заботливость! За это я расплачиваюсь постоянным страхом, чтобы этот староримский медведь как-нибудь не дознался о моих остроумных подвигах и не приказал бы отхлестать меня, хотя я свободный гражданин.

– Префект не шутит. Всадника Руфа он лишил должности, прокуратора Камилла сослал в сардинские рудники, писца Анеллеса приказал распять. А все за что? За то, что они сделали богатым людям маленькое кровопускание.

Грек нахмурился:

– Эти римляне никогда не перестанут быть варварами, хотя и проглотили всю нашу философию. Поскрести их хорошенько по вылощенной шкуре – и покажутся космы волка. Сейчас рудники, пытки, плети...

– А ты не любишь таких нежностей? – засмеялся другой переводчик.

– В восточных префектурах никто не занимается такими мелочами, как побочные доходы чиновников. В Константинополе все берут то, что староримская добродетель презрительно называет взятками, начиная с советников цезаря и кончая последним исполнителем власти, и никому в голову не придет возмущаться ловкостью ловких. На то и должность, чтобы из нее извлекать выгоду.

Занавеска зашевелилась. Оба переводчика быстро наклонились над столом и притворились, что они очень заняты.

В комнату вошел человек в белой тоге без всяких украшений.

– Привет вам, знаменитые мужи! – сказал он.

Переводчики, ничего не отвечая, писали что-то прилежно на восковых дощечках.

⁵ Золотая римская монета.

Через несколько времени грек бросил исподлобья пыливый взгляд на прибывшего и проворчал под нос:

– Сейчас!

И он снова принялся писать и заглядывать в большую книгу, как будто что-то искал в ней.

– Я вызван начальником отдела по сбору городских податей, – отозвался прибывший.

Грек взял у него из рук пергамент, снабженный восковой печатью, внимательно оглядел его со всех сторон, прочитал несколько раз и, пододвинув его своему товарищу, небрежно сказал:

– Не знаю, может ли твое степенство⁶ видаться с начальником сбора городских податей. Знаменитый Руфий приказал сегодня никого больше не принимать.

Горожанин недоумевающе посмотрел на переводчиков, как будто соображая, что ему делать, потом сунул руку за тунику.

Это движение вызвало на губах грека мимолетную улыбку.

– Я прибыл из далеких стран, – продолжал далее горожанин. – Если бы вы захотели мне облегчить доступ к преславному Руфию... – И снова он посмотрел на переводчиков, ожидая совета.

– Может быть, знаменитый Руфий примет во внимание твой далекий путь, если бы я его об этом попросил, – сказал грек и протянул из-под стола руку.

Горожанин еще колебался, но, когда пальцы чиновника сделали движение, как бы считая деньги, быстро нагнулся и сунул в открытую руку несколько серебряных монет.

В ту же минуту Симонид встал и вышел в переднюю. Пробыв там несколько минут, он вернулся обратно и сказал:

– Знаменитый Руфий ожидает твое степенство.

Знаменитый Руфий ожидал всех, кто приходил в префектуру по делам государства, и принимал каждого в определенные часы. Но об этом не знал житель отдаленной от столицы провинции, привыкший в своем крае к взяткам. Любезно поблагодарив «знаменитого господина» за посредничество, он пошел за дежурным чиновником к начальнику городского казначейства.

Когда занавеска опустилась, Симонид сосчитал деньги.

– Много заработал? – спросил его с любопытством товарищ.

Грек презрительно скривил губы.

– Какие тут у вас заработки, – проворчал он. – Дал несчастных пятьдесят сестерций да еще подумал перед этим. Скотина! Будь это в Константинополе, у нас был бы сегодня обед со старым албанским вином, а у вас даже и поторговаться нельзя, нужно все спешить. Держи десять сестерций и прикуси язык. Если бы не моя смелость, мы умерли бы с голоду на хлебесиательнейшего Флавиана. От добродетели не разжиреешь.

– Я все опасаюсь, как бы префект не узнал о твоей смелости. И мне не миновать тогда плетей.

– Откуда же префект может об этом узнать? Ведь я знаю, кому протянуть руку. Такой, как этот болван из далеких мест, который величает нас «знаменитыми господами» и сует сейчас же руку за пазуху, сам берет взятки в своей дыре за горами, потому что если бы он их не брал, то не знал бы так хорошо языка взглядов и пальцев. Такой будет нем как камень. Сенатору или высшему чиновнику я не скажу, что Руфий не принимает.

– Знаешь, Симонид, что мне пришло в голову? – сказал его товарищ.

– Должно быть, ничего умного, – шутливо заметил грек.

– Не могу я понять, зачем ты покинул Константинополь. Такие головы, как твоя, должны бы наживать там сенаторские состояния.

⁶ Титул горожанина, заседающего в городском совете.

– И наживают, но иногда и у самого великого мудреца может подвернуться нога.

– Должно быть, в столице божественного Феодосия нога у тебя сильно подвернулась, коли ты попал в Рим.

Симонид подозрительно посмотрел на товарища.

– Я навлек на себя неудовольствие сильных людей, – сказал он и принялся за работу.

В передней раздался громкий звук оружия. Это был такой необыкновенный случай, что оба переводчика подбежали к занавеске.

– На мягком ложе не будет спать сегодня этот бедняк, – заметил вполголоса Симонид.

Два солдата сопровождали закованного человека, который производил впечатление кучи грязных лохмотьев. Его платье, тога и туника распадались клочьями. Из разорванных сандалий, связанных веревкой, выглядывали пятки. Измученный, худой, покрытый весь пылью и грязью, он шел с поникшей головой.

С наглостью прислуги больших господ присматривались к нему глашатаи и ликторы, передавая друг другу оскорбительные замечания.

Один из стражников подошел к главному глашатаю и шепнул ему несколько слов. Тот сейчас же исчез за пурпурной шелковой занавеской, а когда через несколько времени вернулся назад, то поднял ее кверху.

Узник и его стража вошли в обширную квадратную залу, стены которой были выложены огромными мраморными плитами, выкрашенными в красный цвет. По обе стороны главной двери стояли по три ликтора с отточенными топорами.

Как во дворце Симмаха, так и тут посреди комнаты стоял алтарь, на нем горел священный огонь. Дым медленно подымался кверху и выходил наружу через отверстие, оставленное на крыше.

На темном фоне стен белели изображения первых двенадцати императоров из дома Юлиев, Клавдиев и Флавиев.

Узник, остановившись на пороге, поднял голову и искал тоскливым взглядом того, воля которого должна была определить дальнейшую судьбу его жизни. И когда он нашел его, то не опустил глаз, а смотрел на него в изумлении, так как ему казалось, что в кресле, изваянном из слоновой кости и стоящем на возвышении против алтаря, сидел не живой человек, а один из этих императоров.

Вирий Никомах Флавиан, префект претории Иллирии, Италии и Африки, мог служить моделью для статуи цезаря Августа. У него был такой же круглый череп с выпуклыми висками, такой же широкий лоб, холодные, повелительные глаза и ясно вырисовывающийся профиль хищной птицы. Даже и фигурой он напоминал изображения потомка великого Цезаря.

Опершись правой рукой на поручень сенаторского кресла, он слегка наклонился вперед, весь белый, как мраморные цезари, начиная с седых волос и кончая высокими шнурованными башмаками, такой же недвижимый, как и они. Только с его губ какая-то глубокая тоска стерла твердое, презрительное выражение «господ мира».

На нем не было ни цепи, ни наплечников, ни пурпурного пояса, ни шелкового, затканного золотом платья, тот восточный обычай высших чиновников государства, любящих блеск.

Несмотря на его шестьдесят лет, на бодром, гладко выбритом лице не было следов старческого изнурения. Вся его фигура, полная мужественных сил, внушала уважение.

– Ты Гортензий, декурион города Пикса? – спросил префект.

– Ты сам знаешь, светлейший господин, – отвечал дрожащим голосом узник.

– Снять оковы! – приказал префект.

А когда солдаты сняли оковы с Гортензия, он добавил:

– Удайтесь!

Быстро, без шума покинули залу ликторы и чиновники, сидевшие по обеим сторонам префекта за двумя длинными столами.

– Я нарочно удалил с глаз этих людей, – сказал префект, когда остался наедине с преступником, – чтобы ты мог со мной говорить как свободный человек с свободным. Не старайся поймать меня в сети лжи, только одна чистая правда может склонить меня к снисхождению. Подойди ближе! Что ты можешь сказать в оправдание своего проступка?

Гортензий, подойдя к священному креслу, стал на колени на первой ступени возвышения.

– Встань, – сказал префект. – Ты стоишь перед Никомахом Флавианом, который не признает восточных обычаев. Ты бросил без разрешения наместника Южной Италии город, введенный твоему попечению, пренебрег должностью, связанной с твоим наследственным имением. Ты знаешь, что декурион должен умереть на своем посту, – такова воля божественного и вечного императора. Ты хочешь быть умнее нашего повелителя?

Декурион молчал, вперив свой взгляд в лицо префекта, как будто спрашивая, как и что ему отвечать.

Флавиан понял это и сказал, ободряя его:

– Ты уже слышал, что я не прощаю лжи.

– Я знаю многих, которых правда довела до Позорного Поля, – отвечал печальным голосом декурион. – Она всегда была плохой советчицей.

– Невинный не имеет повода перед моим судом страшиться правды.

– Моя правда не нашла бы поощрения в Виенне или Константинополе.

– Ты находишься в Риме.

Декурион колебался еще немного, потом начал вполголоса:

– Твое сиятельство спрашивает, что я могу сказать в оправдание того деяния, которое закон называет преступлением? Пусть за меня отвечают нивы Южной Кампании, еще недавно такие плодородные и богатые, а теперь такие убогие, как будто война вместе с заразой прошли по ним. Пусть моими свидетелями будут города и села, пугающие путников своими угасшими очагами, пусть моими защитниками будут святые без жрецов. Тяжелая нога варваров до сих пор не позорила этого благословенного края, зараза не покрывала ее пеленой траура, а теперь она, когда-то нарядная и веселая, облеклась в рубище всеми брошенной сироты.

Декурион замолк, и префект не повторил своего вопроса. Он очень хорошо видел, куда метит обвиняемый, – не первый раз приводили к нему членов городских советов.

Этот бедняк убежал из родного города и бросил должность, которой во времена республики и первых императоров все усиленно добивались, потому что новый закон прикрепил его к общине, как владелец прикрепляет арендатора к земле. То, что называлось почетом, для декуриона являлось неволей и непосильным трудом.

С того времени, как цезарь Диоклетиан упразднил последние учреждения республиканского Рима, которые продержались, несмотря на Калигулу, Нерона, Домициана и Каракаллу, до конца третьего столетия христианской эры, городские и сельские общины стали козлом отпущения государственного казначейства.

Место прежней власти, отличавшейся необыкновенной простотой, занял механизм, которому прислуживали целые полки чиновников. Где до Диоклетиана достаточно было одного исполнителя закона, там теперь требовалось десять, двадцать. А все эти сановники хотели не только существовать, но и поскорее выжать все, что можно, из своего положения, не отличающегося прочностью вследствие постоянных перемен императоров.

Издержки на содержание двора выросли до непомерной цифры с установлением самодержавной монархии. Цезари четвертого столетия перенесли столицу в Константинополь и окружили себя по обычаю восточных царей такой роскошью, о которой не воображал даже и Нерон. Целые легионы царедворцев, блистающие золотом и драгоценными камнями, затрудняли доступ к трону. Прежде чем римский гражданин мог добраться до самого императора, он проходил через тысячу рук, из которых ни одна ничего не делала даром.

Чтобы прокормить и одеть эту многочисленную толпу чиновников, цезарский казначей изыскивал все новые подати. Большая их тяжесть падала на городские и сельские общины; все, кто принадлежал к государственному механизму, были освобождены от податей.

Подданный «божественных и вечных» государей, если не служил своему монарху в военной или на гражданской службе или даже в его имениях и многочисленных фабриках, платил за землю, ремесла, за домашних животных и за орудия производства, за титул, почетное отличие и звание гражданина, а когда и этого не хватало, то государство обращало в золото все, что прежде было наградой за заслуги. Всякий, кто внес в казну известную сумму, мог получить сенаторский пурпур или перстень всадника. Людей богатых, невзирая на их происхождение и народность, принуждали даже силой поступать в патрициат, у которого отняли все его привилегии, не освободив от тяжелых обязанностей.

Алчность императорской казны и хищность чиновников дошли до того, что беднейшие жители спасались бегством от обязанностей римского подданства. Хлебопашец бросал землю, ремесленник свое заведение. В четвертом веке целые провинции лежали на краях государства или по берегу морей, откуда легче было пробраться за границу; плодоносные поля стояли в запустении, поросшие плевелами. Леса и горы варварских стран, граничащих с Империей, были переполнены римскими беглецами.

За счастливых, которым удалось обмануть бдительность пограничной стражи, отвечали те несчастные, которые были прикованы разными обстоятельствами к месту рождения. Правительство не заботилось о том, имеет ли община то число жителей, которое записано в податных книгах. Каждый округ должен был доставлять в казну назначенную сумму, каково бы ни было его экономическое положение.

Эта система особенно угнетала те города, которым правительство для облегчения задач своих уполномоченных оставило внешние признаки самоуправления.

Как и прежде, так и теперь во главе общины стоял муниципальный совет. Но декурионы, его составлявшие, не были уже избирательными. Миновала их власть, когда они располагали состоянием, соответственным их званию.

Теперь они, собственно, были бесплатными чиновниками. На их обязанности лежало содержание общественных зданий, улиц, дорог, они доставляли армии солдат, казне золото, проезжавшим сановникам ночлег, экипажи и взятки, а монарху подарки, требуемые по случаю разных торжеств.

Когда город пустел, декурионы отвечали за дерзость непослушных. Правительство взыскивало с них подати, когда не хватало плательщиков.

За эту общественную службу, которая разоряла самых богатых, декурион имел право носить пурпурный пояс, был освобожден от пытки и мог в случае надобности пользоваться общественной благотворительностью. Каждый город прокармливал по несколько таких бедняков, разорившихся без всякой вины.

Не все декурионы погибали на своем посту. Более практичные, угнетаемые цезарскими чиновниками, сами угнетали слабейших. Их насиловали, обкрадывали, и они, в свою очередь, насиловали и обкрадывали других.

Только более совестливые, которые не хотели пятнать себя притеснением бедных, либо падали под бременем обязанностей, либо, измученные постоянной тревогой, бежали куда глаза глядят, без плана и цели, только бы подальше от очагов императорского могущества. Обыкновенно их очень скоро возвращали обратно с дороги – власти с таким рвением наблюдали и преследовали бежавших декурионов, как будто они были величайшими преступниками. Как бы то ни было, с каждым из них убывал бесплатный, а между тем очень полезный чиновник...

Никомас Флавиан знал положение нового цезарства, поэтому опустил голову на руку и молчал.

Спустя некоторое время декурион начал опять:

– Две недели прошло с тех пор, как меня схватили, мне говорят, что я заслужил смертную казнь. Знаю, я тяжко согрешил, оскорбил непослушанием нашего божественного государя, но и домашнее животное кусается, когда его чересчур мучают. Нас мало еще приручили, согнули...

Остальные слова декурион произнес шепотом, но они не ушли от внимания префекта.

– Ты римлянин? – спросил Никомах Флавиан, подняв голову.

– Я происхожу от римской крови, но вовсе не питаю за это благодарности к народным богам, – отвечал декурион. – Скоро новые люди, наплывающие безудержно с Востока, воспретят нам пользоваться воздухом, водой и огнем. Нас покинули боги наших отцов.

Губы Никомаха Флавиана дрогнули, его лицо приняло скорбное выражение, но это продолжалось только секунду.

– Говори дальше, – сказал он спокойным голосом.

– Мне приказали к новому году доставить сто тысяч солидов, – жаловался декурион. – Моя ли в том вина, что из города Пикса нельзя выжать даже и половины этого? Столько-то уже из нас выжали... Приказано мне доставить для сирийских легионов пятьдесят солдат. Моя ли вина, что молодежь разбегается перед набором или переходит к галилеянам и записывается в общины их жрецов, чтобы только не служить под знаменами нашего божественного государя? Что же, мне надо было ждать, пока чиновники отберут у меня последнюю монету? И так уж...

Он вдруг остановился, испуганный своей дерзостью, и упал на колени.

Да, он находился перед непосредственным заместителем императора, перед высшим судьей многочисленных провинций.

– Ты простишь дерзкие слова человека, приведенного в отчаяние, – умолял он. – Слава твоей справедливости и доброты светит нам, детям Рима, как весеннее солнце. Не декурион жалуется префекту, а римлянин римлянину.

– Встань и говори дальше, – снова послышался ровный и холодный голос Флавиана.

– Пусть остальное доскажут эти лохмотья! – вскричал декурион, распахивая тогу. – Когда меня схватили цезарские стражники, надо мной издевались, как над отцеубийцей. Мои деньги забрал их начальник, одежду поделили между собой солдаты, кормили меня падалью, поили гнилой водой. Боги Рима забыли о нас, отдали нас в жертву восточным суевериям и чужеземцам. Властители света стали рабами варваров.

Вторично дрогнули губы префекта. Наклонившись над декурионом, он сказал:

– Не в моей власти снять с тебя бремя, которое возложила на тебя воля нашего общего повелителя, поэтому ты вернешься в Пикс и будешь продолжать исправлять свою должность, связанную с твоим состоянием. Но чтобы ты не подвергался самоволию чиновников, я пошлю в твою общину сенатора, который рассмотрит на месте положение вещей и понизит в случае надобности размер податей и количество солдат. Деньги, взятые начальником стражи, ты получишь из рук властей.

Декурион принял эти приказания без возражения. Он знал, что суд префекта решал окончательно все дела римских подданных.

Склонившись еще ниже над Гортенziem, Флавиан продолжал подавленным голосом:

– Судьбы народов находятся в руках богов и отважных людей. Наступили времена, когда каждый римлянин должен устоять на своем посту, хотя бы за то должен поплатиться жизнью. Возвращайся в Пикс, декурион, и храни веру в народные алтари.

Теперь Гортензий поднял голову и вперил в лицо префекта свой взор с таким напряжением, как будто разгадывал начертанную на нем загадку. Глаза Флавиана говорили ему что-то, о чем он сразу не догадывался, но когда он понял, то приложил правую руку к груди и сказал:

– Будь по твоему приказанию, светлейший господин.

Никомах Флавиан ударил в ладоши. Когда на этот знак вошли ликторы и чиновники, он сказал одному из писарей:

– Начальник дорог выдаст декуриону Гортензию свидетельство на бесплатное пользование цезарской почтой. Мой дворецкий снимет с него лохмотья и оденет его в платье, приличное его положению.

Уже он хотел подняться с кресла, когда на пороге появился глашатай и сказал громким голосом:

– Знаменитый Винфрид Фабриций, воевода Италии, просит аудиенции!

– Пусть войдет! – сказал префект.

Глашатай отдернул занавеску, и в зале показался воевода. Так же, как и в доме Симмаха, он был в военных доспехах и с мечом на бедре, только без плаща. Подойдя быстрым шагом к священному креслу, он преклонил колени и сказал:

– Наш божественный и вечный государь Валентиниан шлет твоей светлости благосклонный привет.

– Пусть боги пошлют нашему императору царствование без печали и войн, – отвечал префект.

– Заботясь о благосостоянии государства и ненарушимости законов, император напоминает твоей светлости о распоряжении, изданном в прошлом году вечным Феодосием.

Сказав это, воевода поднялся с колен и подал префекту пергамент, запечатанный большой пурпурной печатью.

Глаза ликторов и чиновников обратились на префекта, следя с любопытством за выражением его лица. Все угадали, что обозначало это напоминание Валентиниана, который не делал ничего, не посоветовавшись с Феодосием, ревностным гонителем римской веры. Но важное лицо Никомаха Флавиана было так спокойно, как будто письмо цезаря было самого обыкновенного содержания.

– Если для исполнения воли наших божественных и вечных государей потребуется вооруженная сила, – продолжал Винфрид Фабриций, – то я имею приказание предложить к услугам твоей светлости легионы Италии.

Префект ничего не ответил. Простившись с воеводой наклоном головы, он встал с кресла и удалился в свой рабочий кабинет, примыкавший к зале. Тут он развернул пергамент и углубился в его содержание.

По мере того как он читал распоряжения цезаря, его лицо покрывалось выражением печали. Черты, до сих пор твердые, расплылись, веки опустились, нижняя губа отвисла. Вся его фигура, казалось, как-то скорчилась, согнулась. Он имел в это время вид старца, изнуренного жизнью. Какая-то сердечная боль смутила его покой, попраля его гордость.

Вдруг он выпрямился.

– Не осуществится твоя воля, Феодосий, пока Никомах Флавиан охраняет старых богов Рима! – проговорил он сквозь стиснутые зубы.

Он бросил пергамент на стол и хлопнул в ладоши.

– Позвать Аристида! – приказал он ликтору.

Когда в кабинет вошел его личный секретарь, префект спросил:

– Есть подробности о вчерашних уличных беспорядках?

– Городской префект только что прислал доклад, – отвечал секретарь.

– Мне говорили, что крови было пролито много.

– Галилеяне убили двадцать человек из наших.

– А наши?

– Наши убили тридцать два галилеянина.

Никомах Флавиан нахмурился.

– Пойдут снова на нас жалобы в Виенну и Константинополь, – проговорил он. – Скажи начальнику тайной стражи, чтобы он произвел тщательное следствие. Я щедро его награжу,

если он доставит мне виновника этих беспорядков. Уличных мятежей не бывает без подстрекателей.

Немного помолчав, он спросил:

– Между убитыми есть бедные?

– Все убитые, и наши и христиане, принадлежат к народу, – отвечал секретарь.

– Похоронить всех на счет государства, а их семьям без различия вероисповедания выдать по тысяче сестерций.

Когда Аристид исчез за занавеской, префект пересмотрел пергаменты, приготовленные к подписи. Покончив со спешными делами, он вышел из дворца, перед которым его ожидали носилки, и приказал себя нести к Аврелию Симмаху.

Консул был в саду. Прохаживаясь по аллее миртов, он о чем-то разговаривал с самим собой. Время от времени протягивая вперед то одну руку, то другую, то наклоняясь вперед, то откидывая голову назад, он был так занят собой, что заметил гостя только тогда, когда префект остановился перед ним.

– Я подготавливаю на завтра речь, нужно же сказать что-нибудь в сенате по поводу вчерашних происшествий, – сказал консул, здороваясь с префектом. – Превосходный случай, чтобы даже и ленивых из нашей среды восстановить против дерзости галилеян.

– Мне кажется, эти полумеры будут уже недостаточны, – сказал префект.

– Разве ты получил новое распоряжение? – торопливо спросил консул.

– Валентиниан настойчиво добивается исполнения эдикта Феодосия.

– Он требовал это уже не один раз.

– Но на этот раз он угрожает.

– И угрозы его нам не чужды.

– Последнюю угрозу он хочет подкрепить вооруженной силой. Не без основания он отдал власть над легионами Италии в руки ревностного галилеянина.

– Ты говоришь о Винфриде Фабриции?

– Винфрид Фабриций привез указ цезаря и дал мне понять, что не признает святости закона.

– Не понимаю, как Арбогаст мог прислать в Рим галилеянина. И он не сторонник восточного суеверия.

– Это произошло, несомненно, без его ведома. Арбогаста в настоящее время нет в Виенне. Он усмиряет бунт франков – они снова вторгнулись в Аллеманию.

– Мне кажется, решительная минута приближается.

– И мне так кажется... В восточной префектуре уже повсюду закрывают храмы.

Они оба замолкли.

Консул смотрел под ноги, на песок аллеи, префект следил взглядом за белыми облачками, которые свободно плыли по небу. Первый не видел песка, второй не заметил, как края тучек начали окрашиваться розовым цветом. Их мысли совершали далекое странствование. Шли они из Рима в Константинополь, оттуда в Виенну и снова возвращались в Рим, отыскивая помощь против силы христианских цезарей. И тут и там, и на Востоке и на Западе было еще много приверженцев язычества, но власть находилась не в их руках. Один Арбогаст, главный вождь войск западных префектур, мог бы противостоять могуществу императоров, но этот Арбогаст был личным другом Феодосия.

– Дай мне совет, Квинт, – сказал Флавиан. – Когда будет надобность в отважном подвиге, придет и моя очередь, а пока решай дело ты. Может быть, было бы хорошо, если бы ты съездил в Медиолан, к архиепископу Амвросию. Все-таки он римлянин и твой родственник. Это единственный человек, которому подчиняется Феодосий.

– Я сделаю все, что ты желаешь, – отвечал Симмах, – хотя знаю наперед, что это будет напрасный труд. Именно Амвросий самый жестокий враг наших народных богов. Он-то и подговаривает Феодосия уничтожить наши алтари.

– Твое красноречие сломило не одно упорство.

– Я поеду в Медиолан, но тем временем нужно воспользоваться последней возможностью. наших убитых мы похороним торжественно, как героев, чтобы возбудить дремлющее усердие толпы. Надгробную речь произнесу я сам. Потом мы пошлем в Виенну и Константинополь влиятельных людей с просьбой к подножию трона. Когда Феодосий убедится, что старые боги у нас еще в силе, быть может, он возьмет назад свой последний эдикт.

– А если он не захочет склониться на наши законные требования?

– Тогда решать будешь ты, Вирий.

И они долго смотрели друг на друга, передавая глазами ту мысль, которую не хотели доверить слову.

Город мало-помалу охватывала тишина вечера. Шум экипажей и людские голоса смолкали, как будто их подавляла какая-то мягкая рука.

Солнце скрылось как раз за Яникулом, оставив море багрового огня. Весь запад пылал, облитый заревом. Огненные языки выступили далеко, почти до самой середины небесного свода, зажигая по дороге белые облачка.

Никомах Флавиан вперил печальный взор в это море пламени, и с его уст тихо слетали слова:

– Кровь... кровь... все кровь...

III

У подножия Палатинского холма, около дворца Калигулы, поблизости от главного рынка, находился атриум Весты, окруженный со всех сторон садом и высокой стеной. Это был обыкновенный римский дом, состоящий из залы, крытого двора, столовой и спален. Возле него возвышался небольшой круглый храм с позолоченным куполом вместо крыши.

Когда спускался вечерний мрак, то в этой стороне воцарялась такая тишина, как будто жилище весталок находилось не в середине города, а где-нибудь за Тибром. Телеги издалека объезжали этот дом, рабочие, возвращавшиеся из мастерских, разговаривали вполголоса, даже пьяные и те подавляли взрывы своего смеха.

Традиция многих веков охраняла атриум Весты от грубого шума улицы. Закон карал всякое нарушение спокойствия тяжким тюремным заключением, а мужчина, который осмелился бы вторгнуться после захода солнца в обитель благочестивых дев, подвергался смерти. Почет длинного ряда поколений опоясал дом весталок стеной традиции, более сильной, чем укрепления с множеством башен.

И это все потому, что весталки стерегли драгоценнейшее достояние языческого Рима. В их маленьком храме горел вечный огонь, олицетворение бога «волчьего племени». Для целого народа он был тем же, чем домашний очаг для семьи. Все священные огни Италии и покоренных ею стран слились под золоченым куполом Весты в одно общее пламя – символ общественных и семейных добродетелей римского народа.

И, как в частном доме отец, глава рода, произносил молитвы перед алтарем, а цветами украшали его незамужние дочери, так во главе культа Весты стоял верховный жрец, глава религии, а прислуживали ему девы.

Только чистые руки, сердце и совесть могли приблизиться к священному огню, если бог, воплощением которого он был, хотел благосклонно принять приносимые жертвы.

За отречение же от молодости, за жизнь без супружеских утех римский народ щедро вознаграждал жриц Весты. Он поставил их на первой ступени общественной лестницы, рядом с сенаторами, окружил покровительством закона и всеобщего уважения, дал привилегии, которым завидовали самые знатные женщины. Им, как сановникам государства, предшествовали ликторы, а войско преклоняло перед ними мечи. В театрах, амфитеатрах и цирках им предназначались лучшие места, на улицах им уступали дорогу даже консулы. Они одни из всех римлянок, не исключая даже императриц, могли смотреть на борьбу атлетов и распоряжаться своим имуществом до истечения совершеннолетия, освобожденные с минуты перехода за порог атриума от власти отца и старших братьев.

Хотя они жили вместе, подчиненные одному общему уставу, закон не стеснял свободы их действий. Они могли навещать родных и друзей, присутствовать на пирах, принимать у себя гостей разного пола. Только с наступлением вечера атриум закрывался для мужчин. Даже рабы и ликторы оставляли на ночь дом дев, посвященных служению народному огню.

Принадлежа обыкновенно к знатым родам, весталки обладали обширными связями и значительным имуществом. В их тихом уголке постоянно собирался самый цвет общества столицы, а в бурные времена в их двери стучались печаль и тревога всего государства. Они молили бога, покровителя народа, о победе находящихся в опасности легионов, просили о хлебе для голодающих и о вразумлении тиранов, сидящих на троне. Они были жрицами-гражданками, не скупившимися ни на пожертвования, ни на молитвы, когда государство взывало к их патриотизму.

Когда греческая философия подорвала религиозные чувства Рима и погасила священные огни на домашних алтарях, и обаяние дев Весты также побледнело. Доходило до того, что иногда требовалось дополнять необходимое число жриц девицами из народа, так как дочери

сенаторов и всадников не хотели жертвовать утехами любви для служения, в пользу которого они сами перестали верить.

Растущее в силе и значении христианство возвратило почет древним богам, а вместе с ними и весталкам.

Сторонники старого порядка, заметив, что «восточное суеверие» охватывает все более и более широкие круги и, терпеливое и стойкое, мало-помалу приобретает господство над человеческими душами, уцепились с отчаянием утопающих за давние предания Рима.

Четвертое столетие христианской эры было свидетелем необычайного явления. В то время, когда на троне цезарей сидели поклонники Христа, когда значительное число языческих храмов подверглось разрушению или перешло в ведение христианских епископов, когда императорам казалось, что достаточно одного эдикта, чтобы одолеть «староримского вампира», вдруг по всей Империи возгорелись погасшие огни домашних алтарей, и все старые традиции ожили с первобытной силой.

Кто был римлянином по крови или кто признавал себя принадлежащим к этой народности, верный и неверный потомок «волчьего племени», пришелец из какой-либо провинции государства, италиец, галл, испанец, германец – все они, сросшиеся несколькими поколениями со столицей «властелинов мира», бросали ученые книги, забывали о насмешках философов и спешили под защиту крыльев старых богов, ища у них помощи против могучей волны новых идей и людей.

Еще раз, перед самым концом, поднялся высоко пламень греко-римской веры, еще раз устрасил христиан, прежде чем угас навсегда.

И снова, как раньше, перед эрой императоров, в убогом, «деревянном», но честном, геройском Риме знатные люди отдавали своих дочерей на служение Весте, и в калитку укромного уголка благочестивых дев стучалась печаль разбитых остатков великого народа.

На следующий день после уличных беспорядков, с самого раннего утра, по направлению к Палатину, из всех частей города потянулась толпа ремесленников и, окружив атриум дев, кричала до тех пор, пока Фауста Авзония не показалась на балконе дома. Народ, успокоенный видом жрицы, приветствовал ее криками радости и возвращался к обычным занятиям. Это повторялось до вечера десятки раз, весь языческий Рим хотел своими собственными глазами убедиться, что хранительница его священного огня жива.

И высшие классы населения приняли участие в этой народной демонстрации. В продолжение двух дней останавливались перед атриумом носилки, переносные кресла, колесницы и рыдваны. В четвертом веке в Риме экипажи появлялись уже и днем. Сенаторы и всадники, мужчины и женщины толпились у Фаусты Авзонии, чтобы отдать долг своего почтения к занимаемому ею положению.

На третий день, в послеобеденную пору, движение перед домом весталок прекратилось. Фауста Авзония, утомленная заботливостью правоверных римлян, отдыхала на дворе, лежа на подушках, на софе из цитрового дерева. На ней было обыкновенное белое платье жрицы без плаща и покрывала.

Как в частных домах, так и у весталок двор был четырехугольный, продолговатый, окруженный со всех сторон двумя рядами коринфских колонн. На самой середине мозаичного пола был бассейн, где плескалась рыба, а по обеим его сторонам, из пастей бронзовых волков, били две струи воды, с тихим журчанием падавшие в раковины из черного мрамора.

Если бы не статуи умерших главных жриц в натуральную величину, расставленные между колоннами, двор весталок ничем не отличался бы от двора обыкновенного дома. Но белые, суровые статуи напоминали непосвященному, что он переступил порог обители непорочности и молитвы.

Фаусту Авзонию только что оставил рой расфранченных патрицианок, которые мучили ее целых полчаса дешевыми любезностями. Возле нее остались только трое: сенатор Кай Юлий

Страбон с сестрой, четырнадцатилетней Порцией Юлией, и молодой патриций Констанций Галерий Апулей. Гости из уважения к жрице не разлеглись на софах, а сидели в креслах.

– Ты не кончил, – сказала Фауста Авзония, обратившись к сенатору. – Ты говоришь, что мой дядя, Никомах Флавиан, получил из Виенны цезарское письмо...

– Император решительно требует исполнения эдикта Феодосия, – отвечал Кай Юлий.

– Это значит, что наши боги должны уступить место суеверию галилеян...

– Разве это возможно?

– Победа галилейской веры, если мы не удержим ее развития, делается с каждым годом все более правдоподобной. Известно ли тебе, благочестивая госпожа, что уже Грациан не только лишил наши храмы правительственной помощи, но даже забрал их собственное имущество? Наши жрецы живут теперь на счет общественной благотворительности, как некогда жили пресвитеры галилеян. Круг правоверных с каждым днем становится все более узким, более слабые и бедные мало-помалу переходят к врагам Рима, прельщенные положением и обещаниями, на которые власть не скупится для отступников.

Фауста Авзония слушала внимательно, хмурия брови.

Когда сенатор закончил, она посмотрела на него пытливым взглядом и спросила резким голосом:

– А чем же отвечаете на это вы, римляне?

Кай Юлий пожал плечами.

– Мы ждем терпеливо, – отвечал он.

– Вы будете ждать терпеливо, – сказала весталка, – до тех пор, пока наши боги станут посмешищем чужеземцев. Вы будете ждать до тех пор, пока легионы Феодосия не вторгнутся в Рим, чтобы мечом поправить его волю. Нашим храмам грозит уничтожение, а вы ждете... Нет уже мужественных людей в городе Фабиев, Корнелиев, Клавдиев, Юлиев и Квинтилиев.

– За нас думают Флавиан и Симмах, – отвечал сенатор.

– Мы сделаем то, что они прикажут.

– Да, нет мужей в Риме, – вмешался теперь молодой патриций, который до сих пор не принимал участия в разговоре. – Вместо того чтобы приняться за дело, мы все толкуем, вместо того чтобы показать Феодосию нашу силу, мы колеблемся, нерешительные, трусливые. Мы все-таки еще сильны, гораздо сильнее, чем это нам кажется. Нам принадлежат Рим, целая Италия, Галлия и большая часть Испании. Что было делом рук целого тысячелетия не уничтожит злоба одного или двух поколений. Пусть только вернется в наши сердца отвага наших предков, и мы повергнем снова весь свет к подножию Капитолия. Какой же другой народ может сравниться с нами, детьми славного Рима?

Говоря это, патриций с живостью жестикулировал. Он поднимался с кресла и вновь садился, то наклонял голову вперед, то закидывал ее назад и махал руками.

Его подвижность развеселила сестру сенатора.

Порция Юлия, брюнетка среднего роста, свежая и румяная, с большими голубыми глазами, в которых проглядывало выражение еще детской беззаботности, с большим интересом смотрела на подвижного патриция. Было видно, что она с трудом удерживается от смеха, смущенная присутствием весталки. Но когда патриций, сказав последние слова взволнованным голосом, ударил себя ладонью по колену, она не могла дольше сдерживаться и расхохоталась.

– Порция! – остановил ее брат. – Ты никогда не перестанешь быть ребенком.

– Констанций Галерий такой забавный, – прошептала пристыженная девочка.

Она выпрямилась в кресле, сложила на груди руки, взор ее посуровел, она нахмурила брови и придала лицу выражение искусственной важности.

– Прошу извинения у твоего святейшества за шалости этого ребенка, – сказал сенатор весталке.

Суровые черты Фаусты Авзонии прояснились мягкой улыбкой.

– Искренняя веселость не пятнает никогда молодости, – сказала она.

– Мать оставила ее сиротой слишком рано, мои же братские попечения были, по-видимому, слишком слабы, если они не могли укротить ее живого характера, – объяснил сенатор. – Не мог же я наказывать маленькую девочку.

– Я такова и есть, какой ты воспитал меня, – отозвалась Порция, обдав брата огненным взглядом.

– Порция!.. – укоризненно проговорил сенатор, но в его голосе не было суровости упрека.

И Констанций Галерий не обиделся на девочку. И он ответил на ее веселый смех дружеской улыбкой.

– Это глупенькое дитя, как Кай Юлий называет свою сестру, – сказал он Фаусте Авзонии, – умеет, когда нужно, думать очень рассудительно.

Порция искоса взглянула на патриция.

– Очень любопытно, – вмешалась она, – где Констанций Галерий имел возможность убедиться в моих особенных добродетелях?

– Я уже пять лет смотрю на тебя.

– Известно, что ты близорук.

– Но мне помогает сердце!

Во второй раз раздался серебристый смех девочки.

– У Констанция Галерия есть сердце! – проговорила она.

– А ты как думала? – спросил патриций.

– Я вижу у тебя только одни кости.

– Порция! – снова заметил сенатор. – Ты много себе позволяешь!

Порция пожала плечами, как будто хотела сказать: мне все равно.

Галерий и на этот раз не обиделся. Он посмотрел на свои большие руки и добродушно усмехнулся.

– Огромные! – проговорил он, к общему удовольствию всей компании. – Они могли бы задушить медведя, а должны бездействовать.

– Они могли бы колоть дрова, – заметила Порция.

– Это делали мои предки, колонисты в Реции, – отвечал патриций, – а меня ждет иная работа.

Он принадлежал к новой римской аристократии, которая заняла место прежних исторических фамилий, уничтоженных почти без следа войнами, проскрипциями⁷ и подозрительностью императоров. Его прапрадед, потомок маркоманов, допущенных в государство Марком Аврелием, выслужил себе в легионах право гражданства; его прадед получил на полях битвы перстень всадника; его дед, наместник одной из африканских провинций, составил значительное состояние, а отец купил для себя и своих потомков патрициат, доступный со времени Диоклетиана для всех богатых людей. Сам Галерий родился уже членом сенаторского сословия и считался римлянином по плоти и крови, хотя по типу был самым обыкновенным варваром. Высокий, широкий в плечах, нескладный, тяжелый на подъем, он в сравнении с Каем Юлием походил на неотесанный пень. У брата Порции было все деликатно и мелко, начиная с головы, как будто выточенной, и кончая маленькой рукой и ногой, у Галерия же все грубо, первобытно, недокончено. Главной чертой Кая Юлия была утонченность, на большом же лице Констанция Галерия преобладало прямотушие.

– Да, – повторил он, – меня ждет иная работа. Моя жизнь и кровь принадлежат Риму за сенаторский пурпур, и кровью же мой отец щедро заплатил за всаднический перстень. Кровь всего действеннее гасит людские страсти и быстрее всего разрешает самые запутанные споры. Мы сделаем все, что потребует от нас слава Рима.

⁷ Особые списки, на основании которых лица, попавшие в них, объявлялись вне закона.

– Я слышу слова мужа, – отозвалась на это Фауста Авзония. – Когда наступит решительная минута, то располагайте моими средствами.

Белая шелковая, окаймленная золотой бахромой занавеска заколыхалась, и в глубине двора раздался голос глашатая:

– Знаменитый Винфрид Фабриций, воевода Италии, просит о свидании.

Христианин в атриуме Весты был таким невиданным явлением, что гости Фаусты Авзонии изумленно переглянулись друг с другом. Что было нужно этому галилеянину в приюте староримских традиций?.. В городе уже знали о его неприязненно-враждебном отношении к народным богам. Все знали, что в Виенне, при дворе Валентиниана, он принадлежал к ревностнейшим сторонникам новой веры.

Один лишь Кай Юлий незаметно улыбнулся.

– Винфрид Фабриций был ко мне очень внимателен во время уличных беспорядков, – сказала Фауста Авзония и, обратившись к глашатаю, добавила: – Пусть войдет.

Воеводу встретило холодное молчание и недоброжелательные взгляды. Он, по-видимому, почувствовал это и приближался к весталке медленным, колеблющимся шагом. Правда, он гордо нес голову, владея собой, но его лицо побледнело от внутреннего волнения.

На нем не было теперь военного убора. Он не надел панциря и не опоясался мечом, а тяжелые сапоги заменил легкими сандалиями из тонкой красной кожи, расшитой серебряными нитями. На золотых лентах, которыми привязывались к ногам сандалии, блестели рубины. Из-под тоги, окаймленной узкой пурпурной каймой, означавшей принадлежность к всадническому сословию, выглядывала шелковая туника жемчужного цвета, застегнутая под шеей сапфиром необычайной величины.

Воевода, хотя и высокого роста и атлетического сложения, не производил впечатления неуклюжести. Его поступь была эластична, движения свободны.

Он подошел к софе, на которой полулежала Фауста Авзония, и сказал:

– Мне сказали, что римский обычай позволяет приносить дань уважения девам Весты. Пользуясь этим обычаем, я осмелился вторгнуться в тихое пристанище молитвы, обеспокоенный боязнью за здоровье твоего святейшества.

Голос его дрожал, взор избегал встретиться с глазами весталки, как будто он чувствовал за собой скрытую вину.

– От всего сердца благодарю твою знаменитость за заботливость, – отвечала Фауста Авзония, указывая рукой на одно из свободных кресел.

– Знаменитый Винфрид Фабриций, – прибавила она, представляя его остальным.

Язычники ответили холодным поклоном.

– С Каем Юлием нас некогда соединяла тесная дружба, – сказал воевода.

– Ты ничего мне об этом не говорил, претор, – заметила весталка.

– Действительно, мы провели несколько недель вместе в Виенне, – равнодушно ответил сенатор.

О чем вести разговор с христианином? Сторонников старого порядка, замкнутых в традициях прошлого, ничто не соединяло с представителем нового времени. Их разделяло решительно все: вера, понятия, цели жизни. Но, однако, надо было быть любезной с гостем.

– Италия будет благодарна божественному императору, – начала Фауста Авзония через некоторое время, – за то, что он прислал ее легионам молодого вождя.

– Мое положение на новом месте будет нелегко, – ответил воевода. – Мой предшественник был чересчур снисходителен к итальяским солдатам, а те вообще не отличались соблюдением своих обязанностей.

– Некогда легионы Италии были школой мужества и военного порядка для войск целого государства.

– Так было прежде, теперь же...

Воевода остановился в смущении. Он хотел сказать, что солдат обленился вместе с целым народом, но такая правда была бы оскорблением для римлян.

И вновь наступило неприятное молчание. Фауста Авзония искала в памяти какой-нибудь посторонний предмет для разговора, который дал бы возможность наладить разговор. Может быть, воеводу занимает театр, амфитеатр или цирк? Но христиане гнушались языческими играми... Может быть, спросить, не знает ли он последнего сочинения Симмаха? Но христиане презирали римскую литературу, называя ее делом сатаны... Он не разделял ненависти правоверных римлян к последним распоряжениям императора, не понимал их печалей, с отвращением относился к их увеселениям.

Винфрид чувствовал, что он тут лишний, что должен оставить то общество, которое стеснял своим присутствием. Но, однако, не трогался с кресла, как будто его что-то приковало к нему.

Он все чаще и пристальнее смотрел на весталку, восхищаясь ее красотой.

Кай Юлий со стороны наблюдал за этим немимым увлечением и, по-видимому, забавлялся им, потому что ироническая улыбка бродила по его губам, играла в их углах, поднималась выше, к глазам, и зажигала в них мимолетные огоньки. Он один додумался до причины, которая в ревностном христианине победила отвращение к языческой жрице.

Фауста Авзония, смущенная затруднительным положением, не обратила внимания на поведение воеводы. Надо было непременно к чему-нибудь придраться, чтобы изгнать из среды присутствующих холод, который становился уже невыносимым.

– Твои молодые лета видали, должно быть, не одну битву, – начала она, предупредительно улыбаясь гостю. – Император не доверил бы тебе столь важного поста, если бы ты его не заслужил отвагой и знанием военного искусства.

– Я сын солдата и вырос в лагере, – отвечал Винфрид. – Гроза битвы перестала мне быть страшной, я привык к ней, как иные привыкают к играм.

– Однако есть разница между битвой и играми, – заметила Фауста Авзония для того, чтобы сказать что-нибудь.

– Несомненно, но солдат не отдает себе отчета в этой разнице. На поле битвы ни у кого нет времени для размышления о жестокости войны. Вождь защищает легионы, вверенные его заботам, сотник – свой отряд, рядовой – свою жизнь, всех же вместе обуревают, наполняют, уносит шум битвы, действующий сильнее самого крепкого вина. Настоящий солдат до такой степени теряет чувствительность, что не ощущает ни голода, ни усталости, ни ран. Одна только смерть гасит пламя отваги.

Воевода говорил таким спокойным голосом, как будто рассказывал о самых обыкновенных вещах, только ноздри его слегка дрожали.

Весталка посмотрела на него с большей приязнью и вниманием. Дочь «волчьего племени», в жилах которой текла кровь долгого ряда поколений воинов, почувствовала мужество солдата.

Только теперь заметила она на лбу воеводы шрам, отчасти прикрытый волосами, которые были разделены посредине головы и падали кудрями на плечи.

– Я вижу, что твоей головы коснулись крылья смерти, – сказала она.

Воевода небрежно улыбнулся.

– Во время последней войны с франками она так часто касалась меня, что мы с ней вступили в перемирие.

– И она сдержала свое слово? – спросила Фауста Авзония.

– До сих пор меня не обманула эта лучшая подруга солдата, – отвечал воевода. – Сколько раз ни звали меня трубы в бой, я всегда приносил ей сердечную просьбу. «Если тебе нужна моя жизнь, возьми ее, – умолял я, – только избавь меня от позора, от плена». В последней стычке,

в которой я принимал участие, мне уже показалось, что моя верная подруга изменила мне. Но нет. В решительную минуту она вспомнила мою просьбу.

Фауста Авзония внимательно слушала, глядя блестящими глазами на молодого вождя. По-видимому, ее занимал его рассказ.

– Я догадываюсь, что тот шрам, который украшает твое лицо, о многом тебе напоминает, – сказала она.

Воевода улыбнулся. Какое-то отрадное воспоминание прояснило его мужественные черты.

– Франки напали на меня в лесу внезапно, а их силы были настолько больше наших, – продолжал он, – что я сразу понял, что нам остается только защищаться. Мои солдаты сомкнулись без команды, как стадо окруженных оленей, готовые биться мечом, щитом, кулаками, зубами. Мы были уверены, что никто из нас не выйдет целым из этой западни. И никто этого не желал: спасение жизни равнялось бы плену. Всякое сопротивление было напрасно, варвары напали на нас в таком числе и с такой горячностью, что вскоре разбили нас совершенно. Тут же, рядом со мной, стоял знаменосец. Я вижу, что он шатается, падает... Я хватаю знамя, срываю цезарские знаки и прячу себе под тунику на груди... Вырвите его у меня, но только вместе с моим сердцем! Меня окружает неприятель, меня окружает железное кольцо... Опершись о дерево, я отбиваюсь из последних сил. Нет, не отбиться мне, не выдержать этого страшного натиска!.. Я чувствую, что меня хотят взять живьем... Я повертываю меч, чтобы вонзить его себе в горло... В это время на мою голову падает какая-то страшная тяжесть и что-то жгучее заливает мне лицо, глаза, шею... Я шатаюсь, падаю, голова моя тонет в море красных искр, искры расплываются в серой мгле, и меня охватила тьма ночи...

Воевода замолчал. По мере того как он описывал битву, его голос крепчал, щеки покрылись румянцем, глаза разгорелись. Его увлеченность сообщилась и слушателям. Фауста Авзония, опершись на локоть, не спускала с него внимательного взора, вслушиваясь всей душой в короткие, прерывистые слова солдата. Кай Юлий больше уже не улыбался так иронически, даже Констанций Галерий, который упорно смотрел все время в пространство, не поворачивая головы в сторону христианина, теперь внимательно следил за нитью рассказа.

– И что же дальше, что же дальше? – спросила Порция с любопытством ребенка.

– Смерть не изменила мне, – докончил Винфрид Фабриций уже обычным голосом. – Верная моя подруга обманула франков. Варвары, убежденные, что их меч навсегда сделал меня безвредным, оставили меня на растерзание диких зверей. Несколько из моих людей, оставшихся в живых, нашли меня и отнесли в лагерь.

– А знамя? – спросила Фауста Авзония.

– Пропитанные кровью лоскутья с портретами императоров и инициалами истинного Бога я сложил в сокровищницу легиона.

Последние слова воеводы погасили в глазах язычников огонь интереса. Они напомнили им, что римское войско со времени Константина сражалось под знаменами Иисуса Христа.

Фауста Авзония медленно склонилась на подушку софы; Кай Юлий сделал нетерпеливое движение; Констанций Галерий пробормотал под нос проклятие. Даже Порция Юлия, и та отвернулась от христианина.

Винфрид не сразу понял причину быстрой перемены, а когда догадался, то взглянул на весталку долгим, сердечным взглядом, как будто просил прощения за причиненную неприятность.

Но лицо жрицы было опять бледно и холодно и вовсе не поощряло к дальнейшему дружескому обмену мыслями.

И снова, как на площади амфитеатра во время уличных беспорядков, воевода видел перед собой высокую стену, отделяющую его от этой женщины, которая его так привлекала,

что для нее он забыл даже о своей религиозной непримиримости. Он понял, что может приблизиться к ней только по развалинам язычества.

Он провел рукой по лбу и, поднявшись, сказал:

– Если твое святейшество позволит, то я постучусь в скором времени во второй раз в ворота атриума.

– Ворота нашего атриума всегда открыты для всех расположенных к нему, – уклончиво отвечала Фауста Авзония.

Воевода поклонился и быстрыми шагами перешел двор.

Его проводило такое же холодное молчание, какое и встретило.

Когда он скрылся за занавеской, Кай Юлий сказал:

– Как жаль, что Фабриций так страстно предался восточному суеверию. Это воин с большой будущностью и притом человек хороший. При дворе Валентиниана он принадлежал к числу тех немногих сановников, к которым золото не имело доступа. Он и Арбогаст не запятнали себя мздоимством.

– А я предпочел бы, чтобы он брал деньги, как его предшественник, – проворчал Констанций Галерий. – Добродетельный воевода для нас сущая беда. Но бог солнца спускался уже к морю...

И он поднялся так тяжело, что кресло под ним затрещало, что вызвало снова взрыв веселья Порции Юлии.

– Земля под тобой расступается, – засмеялась девочка.

– Все гнется подо мною и трещит, только тебя одну я не могу согнуть, – проговорил патриций с добродушной улыбкой на толстых губах, – но и тебе придет черед.

– Любопытно знать, когда же это будет?

– Когда я перенесу тебя через порог моего дома.

– Да сохранят меня боги от того, чтобы я должна была возжечь с тобой факел Гименея.

– А если б галилеяне размозжили мне кости?

Порция Юлия вдруг сделалась серьезной.

– Зачем ты меня дразнишь, Констанций? – прошептала она.

Последние гости с закатом солнца давно покинули атриум Весты, а Фауста Авзония все еще покоилась на софе. Сомкнув глаза, она лежала неподвижно, как будто чародей заколдовал ее и обратил в настоящую статую.

Фауста Авзония слышала в себе тихую мелодию, как будто в ней пела каждая капля крови. Что-то пробуждалось в ней, бродило, что-то такое блаженное, что она без сопротивления отдавалась совершающейся в ней перемене. Фауста Авзония забыла в ту минуту о пропасти, которая отделяла ее от христианина. Ее римская душа с радостной улыбкой приветствовала храброго воина, который заключил условие с самой смертью.

Вдруг занавеска зашелестела, и на двор вбежал кто-то быстрым шагом.

– Богиня призывает твое святейшество в храм, – дoloжила невольница.

Фауста Авзония широко раскрыла глаза и долго смотрела на прислужницу бессознательным взглядом человека, еще не пришедшего в себя после внезапного пробуждения, потом глубоко вздохнула и, поднимаясь с софы, сказала:

– Подай мне покрывало.

Когда невольница ушла, она протянула руки к статуям покойных весталок и проговорила голосом, похожим на глухое рыдание:

– Простите меня... и не бойтесь... Фауста Авзония не нарушит своего обета...

IV

Сенатор Кай Юлий Страбон жил на Садовой улице во дворце, который в течение ряда веков принадлежал знаменитому роду Квинтилиев. Отец Кая купил его на аукционе и отдал сыну с условием, чтобы он его перестроил, потому что старый дом разваливался. Он восстановил обветшалую крышу, мозаичный пол, попорченный временем, и выцветшую живопись на стенах, а все прочее оставил в прежнем виде.

Солнце только показывалось из-за Албанских гор, когда проснулся сенатор. Он спал в маленькой комнате, на низкой узкой постели, покрытой простым шерстяным коричневым одеялом. В его спальне не было ни одного роскошного предмета.

Надев на себя широкую длинную тунику, он перешел в ванную комнату. Тут не ждали его молодые, прекрасные невольницы, которые в домах богачей требовались для натирания и умащивания тела. Ванну сенатору приготовил старый галл – его гардеробный, цирюльник, банщик и дворецкий в одном лице.

Кай Юлий с удовольствием погрузился в теплую воду.

– Вчера вечером я слышал крики в конюшне, – сказал он, потягиваясь в ванне, словно кошка на солнце. – Ты, должно быть, снова кого-нибудь побил.

– Стукнул немного одного германца по голове – не засыпал корм лошадям, – а этот бездельник визжал так, как будто я с него сдираю шкуру, – ответил галл с фамильярностью старого слуги.

– Знаю я хорошо твое «немного по голове». Должно быть, искалечил его.

– У него выпал один зуб, да я не жалею об этом, у него их много. Жрет за троих.

– Сколько раз я уже просил тебя, чтобы ты не бил людей без крайней необходимости.

Галл пожал плечами.

– Если я время от времени кого-нибудь не побью, – нехотя отвечал он, – то все господское добро разлезется, как нищенские лохмотья. Эта подлая свора совсем взбесилась. Кто-то сказал рабам, что император приказал запереть наши храмы и отдать их имения галилеянам. Эти скоты поверили и грозят, что все перейдут в христианство. Вечером за садом шляются какие-то подозрительные люди и шепчутся через стену с нашими невольниками. Я травил их собаками, а они все-таки возвращаются сюда.

– Тебе опять что-нибудь привиделось, – сказал Кай Юлий.

– Может быть, и привиделось, но только я знаю наверно, что эти бездельники не понимают доброты. Когда я кого-нибудь отдую хорошенько, то спокоен на целую неделю.

– Дождешься ты, что какой-нибудь отчаянный еще бросится на тебя. Теперь это случается все чаще и чаще.

Галл пренебрежительно усмехнулся.

– Не советовал бы я никому, – сказал он и протянул вперед мускулистые короткие руки, поросшие волосами, как медвежьи лапы.

– Я знаю, что в твоих объятиях трещат кости, – сказал Кай Юлий, – и поэтому прошу в последний раз, чтобы ты не бил моих людей без надобности. Нужно избегать всего, что могло бы дать галилеянам повод для жалоб.

Галл проворчал что-то неопределенное под нос, накинул на хозяина, который вышел из ванны, простыню из мягкой шерсти и начал вытирать его с таким усердием, что Кай Юлий громко рассмеялся.

– Осторожней, а то поломаешь мне ребра, – сказал он. – Твоя злоба ничем тебе не поможет. С нынешнего дня ты будешь снисходительнее к рабам, не то мы расстанемся.

– Слово господина – закон, – буркнул галл, – но уж пусть только кто-нибудь из них попадется мне... – Он вытаращил глаза и оскалил здоровые, белые зубы, точно у сердитой собаки.

Кай Юлий, освеженный и бодрый, перешел в маленькую комнатку, прилегающую к спальне. И здесь также не было никакой роскоши. Большое кресло с подлокотниками, маленький столик и два больших сундука составляли всю обстановку.

Сенатор принял из рук галла шелковую одежду и стал надевать ее сам. Он надел две туники – более короткую вниз, более длинную сверху, ноги обул в высокие белые башмаки и привязал их почти до самого колена широкими пурпурными лентами.

Надев на безымянный палец левой руки только один перстень, обыкновенное золотое кольцо с портретом цезаря Валентиниана, он посмотрел на себя в полированное серебряное зеркало и вышел в залу.

Его ожидала домашняя прислуга, стоявшая по обе стороны домашнего алтаря, на котором тлели угли, покрытые пеплом.

Дворня Кая Юлия не была многочисленна. Он не держал ни певцов, ни певиц, ни танцовщиц, ни гистрионов, ни астрологов. Чтец, управитель, надсмотрщик за невольниками, повар, садовник, два возницы, четверо носильщиков, глашатай и шестеро подростков, прислуживающих при кухне и огороде, составляли всю свиту сенатора. Каждый состоятельный плебей имел больше прислуги.

Кай Юлий покрыл голову белым покрывалом и подошел к алтарю. Подняв руки кверху, он молился шепотом посреди глубокого молчания слуг.

Когда он кончил тихий разговор с богом дома, то бросил на угли горсть пшеничных зерен и плеснул несколько капель вина. Его лицо во время этой церемонии сохраняло такое спокойствие, что трудно было отгадать, принимает ли он в ней искреннее участие, или делает это ради древнего обычая, возобновленного в последнее время.

Вслед за распушенностью нравов и религиозным равнодушием первых трех веков христианской эры в догоравшем языческом мире пробудилась тоска по добродетелям и вере далеких предков. Необузданность и философский дилетантизм опротивели главным образом римским патриотам, которые в небрежности к культу видели главную причину быстрого роста ненавистного им учения Христа.

Горя желанием удержать славное прошлое, бесповоротно сливающееся с мраком истории, потомки великого народа напрягали все силы, чтобы воскресить все его традиции.

Что закалило дух прапраотцев и дало им сознание гражданских обязанностей, то должно вывести из унижения и праправнуков. На это уповали все. Образованнейшие римляне четвертого столетия не были сибаритами в жизни и не склонялись на сторону философской безучастности. Этот век не породил Люцианов, отрицателей, богохульников. Свойственная человеческой природе потребность опираться на силу, превосходящую его личные средства, слившись с любовью к римским преданиям, породила могучую реакцию, которая охватила лучших представителей языческого мира того времени.

Кого-то «восточное суеверие» отталкивало потому, что оно происходило из ненавистного Риму Востока, родины презренных сирийцев и жидов, потому, что оно разрушало основы прошлого; кого-то не привлекало учение, утешающее большей частью обездоленных или несчастных; кто не хотел или не мог понять, что изменившимся государственным и общественным потребностям было тесно в пределах обветшавших понятий и правил, тот отступал на тысячу лет назад, к самому началу цивилизации, которая теперь достигла наивысшего развития.

Язычники второй половины четвертого столетия хотели воскресить веру Нумы Помпилия и его народа, со всеми ее формами и символами, забывая, что между благочестивым царем и патриотами времен Феодосия возвышалась громадная гора, сложенная из философских систем, которые, как ржавчина, уничтожили веру в богов, называемых народными. Вместе со старой верой должны были вернуться и старые добродетели.

Но более выдающиеся политеисты четвертого столетия, как император Юлиан Отступник, философ Темистий, оратор Симмах, префект Флавиан, ритор Либаний и другие сознавали

бессилие старых традиций. Поняв, что только обновленная, более высокая и широкая, чем прежняя, религия, осеняющая своими крылами не одну страну или народ, а человека вообще, могла бы снова воспламенить угасшее религиозное рвение, они старались привить язычеству все лучшее, что было добыто за последнее время. У неоплатоников они взяли их «слово», приближающее к единому Богу, а у христиан заповедь о милосердии, непонятную древним.

Но это философское «слово» было таким же отвлеченным понятием, чем-то неясным и неуловимым, как и благородные мечтания стоиков.

Возрожденное язычество Юлиана Отступника, с которого брали пример римские патриоты конца четвертого столетия, искусно сплетенное, основанное не на живой вере, а на доктрине, не воодушевляло широкие массы. То была только политическая религия патриотов, которые, не желая оторваться от прошлого, обеими руками схватились за его формы и символы и умышленно обольщали себя примесью новых добродетелей и понятий.

Кай Юлий Страбон принадлежал вместе с Флавианом и Симмахом к ревностнейшим римским патриотам. Он происходил из рода всадников, который получил перстень по милости великого Цезаря, почему и принял его родовое имя. Кай Юлий в числе своих предков мог указать на длинный ряд воинов и граждан, верно служивших отчизне. Он, как и Флавиан и Фауста Авзония, принадлежал к числу тех немногочисленных представителей римских патрициев, о которых забыли войны и ненависть императоров.

Как Флавиан и Симмах, так и он ненавидел христианство. Не кто иной, как Константин, первый христианский император, оскорбил гордость «властителей света», когда перенес столицу государства из Рима в Византию. Он и его преемники, продолжая дело, начатое Диоклетианом, упразднили все древние учреждения, отняли у сенаторов и преторов их значение, сделали посмешищем сенаторский пурпур и всаднический перстень, отделили гражданскую власть от военной.

Как же мог он, Кай Юлий Страбон, с таким увлечением привязанный к блестящему прошлому Рима, как лучший сын к лучшей матери, желать распространения религии, которая отрицает это прошлое?

Если бы христианство было только особой формой почитания богов, то он не чувствовал бы к нему нерасположения. В Риме столько различных культов восхваляло небожителей каждый по-своему, и никто не стеснял их свободы. Только бы они признавали Юпитера Капитолийского отцом богов и не отвлекали бы подданных государства от исполнения гражданских обязанностей, и тогда пусть они спокойно приносят жертвы кому угодно. Религиозный фанатизм не побуждал никогда истинных римлян к принятию чрезвычайных мер, тем более в четвертом столетии, когда философия давно уже охладила первоначальное рвение.

Но это «восточное суеверие» было не только религиозным культом, что понимал уже и Марк Аврелий. То был новый общественный порядок, настолько противоположный старому, что они не могли ужиться в согласии.

Это хорошо чувствовали в четвертом веке поклонники прошлого Рима, начиная с Юлиана Отступника и кончая последним клиентом, происходящим из латинян, и потому завистливым взглядом следили за быстрым развитием христианства.

Вот почему на всем пространстве западных провинций в государствах, более тесно, чем восточные, связанных с прошлым Рима, вдруг вспыхнули священные огни, и древнее язычество еще раз ожило с первобытной силой в то самое время, когда никто уже не ожидал его возвращения.

Кай Юлий Страбон, наследник сомнений, цинизма и распущенности нескольких веков, воспитанный на греческой литературе, молился ежедневно утром и вечером перед домашним алтарем, спал на жесткой постели, сам одевался и ел простую пищу. Его отец требовал для своих личных услуг большего количества людей, нежели Юлий держал для целого дома. Его дед не думал о том, что наказание, которому подвергались невольники, причиняет боль, а

Юлий рекомендовал своему надсмотрщику быть снисходительным. Пусть галилеяне знают, что и те, которых они называют идолопоклонниками и упрекают их в жестокости к бедным и обездоленным, обладают добродетелью милосердия. Стоики и неоплатоники также предписывали ее своим последователям.

Окончив утреннее жертвоприношение, Кай Юлий перешел по мраморной лестнице в свой рабочий кабинет, куда за ним последовали чтец и смотритель.

Это была его самая любимая комната. Тут он отдавал приказания управителю и надсмотрщику, устраивал дела с арендаторами своих имений, читал, писал, слушал чтеца и принимал близких друзей. Это была и библиотека, состоящая из нескольких сотен драгоценных рукописей, где он окружал себя всем, что любил. Если б кто нашел Кая Юлия в кабинете, то принял бы эту комнату за лавку торговца древностями.

Вдоль стен стояли шкафы, а на их полках заботливая рука разложила множество сосудов и предметов разных эпох. Тут были ножи, горшки, кувшины, амфоры времен консулов, мечи и наплечники известных полководцев, золотые и серебряные монеты первых императоров, ожерелье императрицы Фаустины, чарки, геммы и множество всяких достопримечательностей, которые могли прельстить антиквариев. Как Юлий затратил много денег на эти вещи!

Он сел в большое кресло и сказал старому галлу:

– Завтрак ты подашь мне сюда. – И, повернувшись к чтецу, спросил: – Не было письма от консула?

– Аврелий Симмах вызывает тебя на заседание сената, – отвечал чтец, свободный римский ученый, получивший образование в афинских школах.

– Сегодня?

– Завтра в Капитолий.

– Мы дошли до прощания Гектора с Андромахой...

Пока Кай Юлий ел завтрак, состоящий из подогретого вина, хлеба, двух яиц и нескольких оливок, чтец достал из бронзового ящика свиток пергаментов и начал читать по-гречески:

Ей отвечал знаменитый, шеломом сверкающий Гектор:

«Все и меня то, супруга, не меньше тревожит, но страшный
Стыд мне пред каждым троянцем и длинноодежной троянкой,
Если, как робкий, останусь я здесь, удаляясь от боя.
Сердце мне то запретит, научился быть я бесстрашным.
Храбро всегда, меж троянами первым, биться на битвах,
Доброй славы отцу и себе самому добывая!
Твердо я ведаю сам, убеждаясь и мыслью и сердцем,
Будет некогда день, и погибнет священная Троя,
С нею погибнет Приам и народ копыеносца Приама...

– Ты служил уже в легионах? – спросил Кай Юлий, прерывая чтеца.

– Моему отцу удалось подкупить декуриона, и меня миновал набор, – отвечал ученый.

– Ты римлянин, а уклоняешься от воинской повинности! Наши предки спешили стать под знамена без принуждения, – сказал сенатор.

– Ты знаешь, господин, у наших предков были другие понятия о целях жизни.

– У свободного римлянина может быть только одна цель, – служить своей отчизне. Нас, цвет народа, коварство новых императоров лишило возможности прославиться под орлами. Эти вновь испеченные повелители опасаются, как бы мы не приобрели уважения солдат, которым они сами обязаны властью. Их опасения имеют основания, потому что каждый из нас имеет больше прав на престол, нежели они, выдвинутые милостью наемников на самую вершину государственной власти. Но почему вы, плебеи, которых никто не опасается, почему вы

пренебрегаете военной службой? Вы зоветесь римлянами, а позволяете вырывать оружие из своих рук. По вашей вине римские легионы перестали быть римскими. Не мы проливаем кровь на полях битв, а варвары, дерущиеся за деньги. Не было бы ничего удивительного, если бы эти варвары вместо золота пожелали власти.

На губах ученого промелькнула презрительная улыбка.

– Ты знаешь, господин, что это невозможно, – отвечал он.

– Почему невозможно? – спросил сенатор. – Господствует надо всем только сила, а войско есть сила. Мы пользуемся уже несколько веков заслугами предков, ничем за это не расплачиваясь перед их памятью. Ты говоришь, что теперь у нас другие понятия о целях жизни? Какие? Понятия, почерпнутые из греческой философии времен ее упадка? Они хороши для разбогатевших торгашей, сластолюбцев и немощных старцев.

Чтец смутился и молчал.

– Читай дальше! – приказал резко Кай Юлий.

Рек, и сына обнять устремился блистательный Гектор;
Но младенец назад, к груди пышноризой кормилицы
С криком припал, устрасаясь любезного отчего вида;
Яркой медью испуган, и гривой косматого гребня,
Грозно над шлемом отца всколебавшейся конской гривой,
Сладко любезный родитель и нежная мать улыбнулись.
Шлем с головы немедля снимает божественный Гектор,
Наземь кладет его пышноблестящий, и, на руки взявши
Милого сына целует, качает его и, поднявши,
Так говорит, умоляя Зевса и прочих бессмертных;

Сенатор вторично прервал чтеца. Опустив голову на руки, он кончил за него на память:

«Зевс и бессмертные боги!» О, сотворите, да будет
Сей мой возлюбленный сын, как и я, знаменит среди граждан;
Также и силою крепок, и в Трое да царствует мощно,
Пусть о нем скажут, из боя идущего вида:
Он и отца превосходит! И пусть он с кровавой корыстью
Входит врагов сокрушитель и радует матери сердце!»

«Добрая! Сердца себе не круши неумеренной скорбью.
Против судьбы человек меня не пошлет к Андесу;
Но судьбы, как я мню, не избег ни один земнородный,
Муж, ни отважный, ни робкий, как скоро на свет он родится.
Шествуй, любезная, в дом; озаботься своими делами;
Тканьем, пряжей займись, приказывай женам домашним
Дело свое исправлять; а война – мужей озаботит
Всех, наиболее ж меня, в Илионе священном рожденных».

Голос сенатора, вначале бодрый и звучный, ослабевал к концу молитвы Гектора, как будто его утомила образная речь Гомера. Последние два стиха замерли на его устах. Он замолчал и печальным взором обвел мраморные бюсты Корнелиев, Фабиев, Юлиев, Клавдиев, Квинтиев, стоящих на шкафах.

а война – мужей озаботит

Всех, наиболее ж меня, в Илионе священном рожденных, —

повторил он вполголоса.

Он посмотрел на свои маленькие, холеные руки, на худые плечи, на узкую грудь и горько усмехнулся.

— На дворе, кажется, не греет вчерашнее солнце? — спросил он, обращаясь к чтецу.

— С самого утра моросит мелкий дождик, — отвечал ученый. — У нас в нынешнем году ненастная осень.

— Я чувствую ее в костях, — проворчал сенатор. И, поднявшись с кресла, прибавил: — Ты мне больше на этот день не нужен. Пусть письма к арендаторам будут готовы завтра.

Когда чтец удалился, Кай Юлий потянулся, как рабочий, расправляющий мускулы после нескольких часов труда, потом проговорил про себя, отделяя слово от слова:

Будет некогда день, и погибнет священная Троя,
С нею погибнет Приам и народ копыеносца Приама.

Тени печали легли на его худое лицо, придав ему выразительность камен.

Вдруг он вздрогнул и быстро повернул голову в сторону занавески.

— Если бы я знал, что шелест занавески испугает тебя, как больную женщину, — сказал Констанций Галерий, входя в кабинет, — то послал бы доложить о себе. Привет тебе! Должно быть, на тебя снова повлияла перемена погоды.

— Здравствуй! Действительно, мне надоедает этот противный, мелкий дождь, который проникает сквозь стены и пробирается под самую кожу. Ты смеешься? Если бы твои предки в течение нескольких поколений так же хорошо, так же много пили и так же горячо любили, как мои, то тебе было бы так же холодно, даже и в самые жаркие летние дни.

— Это значит, что я должен благодарить своих предков, что они не знали этих хороших вещей, — отвечал Констанций Галерий и тяжело опустился на кресло. — Я устал, как гладиатор, покидающий арену. Знаешь ли ты, что я сегодня делал? Не отгадаешь. Я обежал раз двадцать мой сад.

— Ты хочешь убавить жиру?

— Я не думал, что ты так проницателен. Действительно, жир мешал бы мне на войне.

— Ты чересчур прозорлив. До войны еще далеко.

— А мне кажется, что близко.

— Разве ты говорил с Флавианом?

— Префект показывал мне письмо Валентиниана.

— Этот галилеянин говорил настолько решительно, что мы не можем на этот раз рассчитывать на его снисходительность. Бывает время, когда бряцание оружием представляется единственным ответом. Слишком долго мы терпим самовластие Феодосия.

Кай Юлий с завистью посмотрел на гостя.

— Если б у меня было твоё здоровье! — с сожалением сказал он.

— Ты только не падай духом, — утешал его Констанций Галерий. — И для тебя найдется работа. Умная голова весит больше сильных рук.

— Но не на войне.

— И на войне.

Они оба задумались, глядя в пространство. Через несколько минут Констанций Галерий опять заговорил:

— Я хотел тебе сказать, что лошади Руфина продаются. Он вчера проигрался в кости и хочет сбыть тех вороных жеребцов, на которых ты точишь зубы вот уже три месяца. Ты можешь купить их дешево.

Кай Юлий пожал плечами.

– Я обойдусь и без лошадей Руфина, – сказал он.

– Почему? – с удивлением спросил Констанций Галерий. – Они так тебе всегда нравились.

– Неизвестно, на что мне понадобятся в скором времени деньги.

– Признайся, ты снова заплатил огромную сумму за какие-нибудь дырявые сандалии Цинцинната или за запонку Цезаря. А может быть, тебе удалось поймать кусок хвоста той волчицы, которая кормила Ромула и Рема? Покажи мне свою добычу, все равно ты не утратишь.

Кай Юлий весело рассмеялся. Приблизившись к одному из шкафов, он достал из него какой-то глиняный сосуд и поднял его вверх.

– Дивись! – сказал он с победоносным видом.

Глаза его сверкали, лицо оживилось.

Констанций Галерий посмотрел на сосуд с одной стороны, потом с другой и сказал:

– Черепушка.

– О, ты медведь из лесов Реции, – сказал Кай Юлий. – Тебя, значит, не приводит в восторг чашка времен Тарквиния Гордого? Ты слышишь? Во времена Тарквиния Гордого наши предки употребляли такие чашки.

– Мои собаки едят из лучших чашек, – сказал, смеясь, Констанций Галерий.

– Варвары! – воскликнул Кай Юлий. – Не для твоих тупых глаз такая святость.

И он уже хотел спрятать чашку в шкаф, но патриций остановил его.

– Научи меня искусству распознавать эти чудеса, – попросил он, – чтобы и я мог вставить мудреное слово, когда у Симмаха будут разговаривать о древностях. А то мне стыдно, что я должен всегда молчать в таких случаях.

Они оба наклонились над чашкой времен Тарквиния Гордого. Кай объяснял знаки, по которым узнается посуда того времени; Констанций внимательно слушал.

Когда они стояли в таком положении, склонившись друг к другу головами, белая маленькая рука отдернула занавеску, отделяющую кабинет от двора, и большие голубые глаза засветились над вздернутым носиком с любопытством. За носиком показалось лицо, а за лицом – вся фигура Порции Юлии. Она плутовски усмехалась и, удерживая дыхание, на цыпочках двигалась вперед. За ней полз большой британский пес. Когда она очутилась за плечами Констанция Галерия, то ударила изо всей силы в ладоши.

Кай и Констанций в ужасе отскочили друг от друга, а Порция залилась смехом избалованного ребенка. Пес, расшалившийся, как его госпожа, вторил ей радостным лаем.

Насмеявшись вволю, она подбежала к брату, обняла его, закинув обе руки ему на шею.

– Я приношу утреннее поздравление возлюбленному братцу, – сказала она, целуя сентора в обе щеки.

– Порция, моя чашка времен Тарквиния Гордого! – восклицал в отчаянии Кай Юлий, поднимая высоко вверх посудину.

Пес скакал как сумасшедший, стараясь мордой достать драгоценную чашку.

– Отгони Лидию, – умолял Кай.

– Лидия, перестань, – прикрикнула Порция.

Пес сейчас же успокоился. Растянувшись у ног своей госпожи, он лизал ей руку.

Теперь Порция обратилась к Констанцию, отвесила ему низкий поклон и сказала мрачно:

– Привет твоей преславности!

То же самое проделал и Констанций Галерий и отвечал так же угрюмо:

– Пусть боги сохраняют твою преславность!

Вид его был настолько комичен, что Порция снова разразилась громким смехом.

– Ты мог бы показываться в театре, как мим, – сказала она. – Только скажи мне, почему люди называют тебя преславным? – продолжала она. – Что ты сделал такое славное, что стал преславным?

– Порция! – отозвался Кай Юлий, который запер уже свою чашку в шкаф.

– Оставь ее, – попросил Констанций Галерий. – Ведь не с сегодняшнего дня Порция избрала меня вазой, куда без помехи изливает свое веселье.

– Обширная ваза! – заметила Порция.

– Обширная! – подтвердил Констанций. – Но скоро она станет поуже.

– Может быть, ты пристал к галилеянам и удалишься в пустыню, чтобы питаться кореньями.

– К галилеянам я не пристал, потому что я римлянин, но питаться кореньями могу, когда будет нужно, потому что зубы у меня хорошие. Ты имеешь основание удивляться, почему меня люди называют преславностью. Я сам знаю, что купленный титул надо оправдать достойными подвигами.

Порция своими тоненькими белыми пальцами взяла большую руку Констанция и, глядя ее, сердечно сказала:

– Мое глупое веселье снова обидело тебя. Но ты не сердишься на меня? Ты знаешь, что я никогда и никого умышленно не обижаю.

– А ты знаешь, что ты можешь делать со мной что угодно, – ответил Констанций Галерий и посмотрел на Порцию с такой любовью, что она вся вспыхнула.

– Ты могла бы склониться на его просьбу, которую он повторял уже столько раз, – отозвался Кай Юлий, – и стать вместе с ним перед алтарем его домашних богов.

Порция отскочила от Констанция.

– С ним? Никогда! – с гневом воскликнула она.

– Отчего? – спросил брат. – Оттого, что он принадлежит к новому патрициату? Новый у него только титул, но любовь к Риму старая, а еще более старая доброта и честность. Его прадед добыл всаднический перстень с мечом в руках. За служение новой отчизне, так же, как некогда наши предки. Лучшего и вернейшего мужа ты не найдешь, Порция.

– Я знаю, что Констанций Галерий добрый и милый, – отвечала Порция, – но какова бы я казалась рядом с ним? Как серна около слона. Нет, не хочу!

Патриций добродушно улыбнулся.

– Известно, что слоны бывают терпеливы, – сказал он. – Времени у нас обоих достаточно.

– Ты полагаешь, что твое терпение сломает мою волю? – закричала Порция с детским задором.

– Я уверен, что когда-нибудь ты очень будешь любить меня.

– Что тебе дает право на такое самомнение?

– То, что ты постоянно ссоришься со мной.

– Так с этого времени я буду молчать, как, как, как... – повторяла Порция быстро, топая ножкой.

– ...как Порция Юлия, – подсказал ей, смеясь, Констанций.

Девочка погрозила ему пальцем, повернулась на одной ноге и выбежала из комнаты. За ней с веселым лаем побежал и пес.

Еще занавеска не перестала колыхаться, как на пороге противоположной двери показался глашатай.

– Знаменитый Винфрид Фабриций! – доложил он.

Кай Юлий с удивлением посмотрел на Констанция, как бы спрашивая его: что этому человеку нужно от меня?

– Я бы не принял этого галилеянина, – проворчал патриций.

– Может быть, у него есть какое-нибудь поручение ко мне из Виенны, – отвечал сенатор.

– Пусть войдет! – сказал он рабу и, накинув на себя тогу, вышел в залу.

– Я позволил себе нарушить покой твоей преславности, – начал Фабриций, – не как воевода Италии и христианин, а как старый знакомый по Виенне.

– Привет тебе! – отвечал сенатор и указал рукой на одну из соф, стоявших полукругом посредине залы.

– Так как в Риме близко я знаю только одного тебя, – говорил воевода, – то хотел бы поговорить с тобой откровенно о деле, которое одинаково касается как нас, христиан, так и вас, язычников.

– Исповедников веры народных богов, – поправил Кай Юлий.

Как будто не обратив внимания на это замечание, воевода продолжал:

– Я узнал, что вы намереваетесь хоронить ваших убитых с необычайной пышностью, и что сам консул скажет на главном рынке речь к народу. Если это сборище имеет целью вызвать новое волнение, то я буду принужден стянуть в Рим весь гарнизон Италии и запретить на будущее всякие многочисленные процессии.

На лице сенатора выступил румянец.

– Ведь ты сам убедился, что палатинского гарнизона совершенно достаточно для водворения порядка, – сказал он, бросив на воеводу неприязненный взгляд. – Что же касается твоей угрозы, то она превышает границы твоей власти. В стенах города у нас распоряжаются префект и консул.

– Я пришел к тебе, чтобы разъяснить те размеры власти, с какими меня прислали в Италию. Я бы мог вас миновать и объявить цезарское полномочие только тогда, когда вы этого пожелали бы, но моя солдатская натура не выносит закрытой игры. Так знайте же, что я прибыл в Рим с поручением выполнить эдикты божественных и вечных императоров, невзирая на средства, к которым я сочту нужным прибегнуть. Теперь ты понимаешь, почему я не желаю торжественного погребения ваших убитых. Я не люблю напрасного пролития крови. Солдат должен убивать только на поле битвы.

Кай Юлий понял его превосходно. Было видно, что он собирает последнюю силу воли, чтобы сохранить спокойствие. Его губы и веки нервно дрожали.

– Я понимаю и вижу, – отозвался он после долгого молчания голосом, хриплым от внутреннего волнения, – что ты хочешь быть ревностнее божественных и вечных императоров, которые одарили Флавиана и Симмаха высшими почестями в западных префектурах, награждая их за заслуги и добродетели. Я понимаю и вижу, что ты пришел к нам с ненавистью неприимимого врага и забыл приказания твоей веры, которая учит: любите врагов своих, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. О христиане! Едва вы покинули подземелья и тайники закоулков, как уж забыли о своих заветах, которые некогда были вашей силой.

А когда воевода в изумлении посмотрел на него, Юлий продолжал:

– Ты удивляешься, что язычник, как ты меня презрительно называешь, знает ваше Писание? Мы, остатки народа, забытого с некоторого времени богами, ищем в мудрости всех исповеданий источник новой правды, которая возвратила бы нам прежнюю силу и доблести. Но в ваших книгах, должно быть, нет этого источника, если заветы, заключающиеся в них, не могли облагородить человеческой природы.

Воевода, который не ожидал подобного оборота разговора, смутился и молчал. Через некоторое время он ответил:

– Не дело смертного испытывать пути и средства, какими Творец и Господь мира идет к своим целям. Но придет время, и на земле водворится обещанное Царство Небесное.

Теперь сенатор в изумлении посмотрел на воеводу. Для него эта речь была непонятна, ее не усваивал его скептицизм. Он спрашивал везде и всегда: зачем, куда, с какой целью? А этот галилеянин закрывал глаза и уши и шел вперед, не оглядываясь ни направо, ни налево.

– Ты так думаешь? – спросил он, желая вызвать воеводу на дальнейший разговор.

– Я так верю! – отвечал христианин голосом глубоко прочувствованной убежденности.

Сенатор внимательно слушал. Воевода на все отвечал одно: «Верю!»

Это слово поразило римлянина. Он смотрел на лицо Фабриция, осветившееся странным огнем, исходившим из его черных глаз.

Но вдруг он понял, почему воевода на все отвечает: «Верю!» Галилеянин не исследовал, не колебался, но верил в своего Бога, как послушный ребенок верит в любимого отца. В его груди бьет тот благодатный источник, из которого могучие созидатели Рима черпали силу, чтобы безропотно свершать свои подвиги – источник живой веры, которую он, наследник религиозного равнодушия нескольких поколений, безуспешно искал в учениях всех религий. Для воеводы учение Христа не было политической верой, а только потребностью души и сердца. Он... верил...

И язычник понял силу христианства: «С верой не может сражаться человеческий ум».

– Если бы вы захотели облегчить мое поручение уступчивостью, то я был бы снисходителен к вашим обычаям. Я не сразу закрыл бы все ваши храмы.

– Прежде чем мы будем говорить об этом, надо подождать последнего ответа божественных императоров, к которым сенат пошлет на днях почтительную просьбу.

– Вы понапрасну трудитесь, – сказал воевода.

– Не твое и не мое дело предупреждать божественную волю императоров, – отвечал Кай Юлий.

– Я надеялся, что ты примешь мои доводы и отвлечешь префекта и консула от таких похорон, – сказал воевода. – Я боюсь новых волнений.

– Делай, что тебе надо, а нас предоставь своей судьбе, которую нам предназначили боги. Они простились друг с другом принужденным поклоном.

Когда воевода ушел, Кай Юлий поник головой и сложил руки на груди. Его худощавая фигура, изможденная, согнутая, как подрезанное под корень растение, казалась еще более худой. Этот потомок великого римского рода не производил впечатления силы.

– А говорил я тебе, что нужно будет... – отозвался Констанций Галерий, сходя по мраморным ступеням, которые вели из кабинета в зал.

Он плюнул на ладонь и поднял кулак, как будто замахивался на кого-то.

– Я все слышал, – сказал он, – и хотел прийти к тебе на помощь, если бы этот галилеянин забылся. Это какой-то разбойник! Я уже давно говорю: хвататься за оружие и бить! А вы все колеблетесь. Чего тут ждать? С каждым днем мы все больше теряем почву под ногами. По-другому с нами заговорят императоры, когда мы подадим им просьбу на конце меча. И, наконец, за последние двести лет, кто занимал трон императора? Тот, кто был сильнее.

– Ты не можешь научиться быть осторожным, – отвечал Кай Юлий. – Неизвестно, где подстерегает измена. Твой голос слышно через стену.

Констанций Галерий равнодушно махнул рукой.

– Живьем меня никто не возьмет, а что будет с моим трупом, меня мало интересует, – продолжал он. – Не поддавайся сомнению, вслед за этой ворчливой ведьмой идет всегда неудача, она еще никого не привела к победе.

– Если бы у меня были твое здоровье и его вера, – сказал со скорбью Кай Юлий.

– Но у тебя есть любовь к прошлому Рима, это равняется здоровью и вере, – утешал его патриций.

Кай Юлий с недоверием усмехнулся. Но вдруг он провел рукой по лбу и поднял голову.

– Да, да, не следует поддаваться сомнению, не следует терять отваги, – лихорадочно говорил он, оправляя на себе тогу, – надо защищаться... Ты сейчас же отправишься к консулу. Я прикажу нести себя к префекту. Пусть совещаются, пусть торопятся сделать решительный шаг. Этого галилеянина надо убрать из Рима... Кто-нибудь из нас должен ехать к Арбогасту... И наших сторонников в легионах, расположенных в разных местах Италии, нужно также предупредить...

– Вот таким я люблю тебя, – радостно воскликнул Констанций Галерий. – Не бойся! У нас есть еще деньги. Мы купим мечи франков и галлов и тогда посмотрим, кто будет запирачь чьи храмы...

Винфрид Фабриций, выйдя из дома Юлия, вскочил на колесницу, которая ждала его у ворот, взял из рук невольника вожжи и крикнул двум конным легионерам:

– В Латеранский дворец!

Солдаты пустились с места в галоп впереди воеводы, который правил горячими испанскими кобылами с ловкостью циркового наездника.

– С дороги! Место знаменитому воеводе! – кричали солдаты.

Пока колесница ехала по базальту Садовой улицы, ничто не останавливало ее быстрого движения. В этом тихом квартале города, заселенном главным образом сенаторами, в это время обыкновенно бывало пусто. Лишь ранним утром здесь теснилась толпа нищих, стучавшихся в ворота богатых людей.

Но когда воевода повернул налево и попал в самый разгар торгового и промышленного движения на Широкую улицу, то крики его стражи не оказывали никакого действия. Кверху, к Фламинским воротам, и книзу, в сторону Капитолия, беспрерывно текла живая волна, и посредине улицы тянулись носилки, переносные кресла и тачки с тяжестями.

Римский народ, который хорошо помнил, что еще недавно даже консулы и преторы приказывали своим ликторам в стенах города из пучков розог вынимать топоры, чтобы не оскорблять его знаками власти, не обращал никакого внимания на воеводу.

Этот народ видел столько пышных процессий, столько блеска, расточаемого сенаторами на улицах, ежедневно соприкасался со столькими сановниками, что равнодушно смотрел на скромную колесницу. Только когда легионеры погоняли лошадей, из толпы раздавались голоса:

– Тише! Подождешь!

Кругом слышался глухой ропот.

Его удивляла не одна только распущенность римского люда. Ведь сегодня было воскресенье, день, священный для христиан. Никейский собор запретил работать в эти дни.

В Виенне и местах, соседних с резиденцией императора, даже иноверцы подчинялись этому предписанию, подтвержденному цезарским эдиктом. А тут, в древней столице государства, улица кишела народом, как будто новый порядок вовсе не существовал. Купцы не заперли своих лавок, мелкие торговцы не сложили своих лотков, расставленных на тротуарах, ремесленники ковали, пилили, стучали в своих мастерских и пели во время работы. Даже чиновники не принимали в расчет цезарской воли.

Какой-то сенатор, окруженный толпой слуг и клиентов, спешил в курию. Судьи, адвокаты, городская стража тянулись к главным рынкам, к обычным занятиям рабочего дня.

Глядя на это движение, воевода вспомнил слова Кая Юлия. Действительно старые боги в Риме были сильны, сильнее, нежели это казалось христианским императорам. Этот Вечный город остался языческим, несмотря на гнев Константина, Грациана, Феодосия и Валентиниана.

И ревностный христианин понял, что он взялся за трудную задачу. Как запереть храмы в городе, который, без сомнения, будет защищать свои святыни с яростью отчаяния? Прежде чем Крест победит окончательно, еще много придется потрудиться.

Воевода сумрачно глядел кругом, как будто чувствовал сожаление к этим людям за их неразумное, грешное, по его мнению, упорство. Зачем вы слепы для света истинной веры, зачем вы своими же руками запираете перед собою врата Царства Небесного? – спрашивали его глаза.

В то время как он так размышлял, улица вдруг сразу стихла. Живая волна расступилась на две половины, теснясь к тротуарам, хотя ничто не принуждало ее к этому. Мужчины снимали с головы полы тог и плащей, которыми они закрылись от дождя, женщины кланялись так низко, что лицом почти касались мостовой.

Не успел воевода оглядеться, как несколько человек бросились к его лошадям и, схватив их под уздцы, оттащили колесницу в сторону.

Винфрид Фабриций хотел крикнуть своим солдатам, но вдруг побледнел и дернул коней с такой силой, что они поднялись на дыбы.

Мимо него медленно и торжественно проследовали носилки, а в них лежала Фауста Авзония. Ей предшествовал ликтор и многочисленная свита, состоящая из молодежи обоего пола, сенаторского и всаднического звания.

С затаенным дыханием, весь подавшись вперед, воевода впился взором в весталку, как птица, очарованная взглядом змеи. Вся в белом, с опущенной головой Фауста Авзония казалась статуей из каррарского мрамора.

Один из молодых патрициев обратил ее внимание на воеводу. Фабрицию показалось, что в глазах весталки мелькнул блеск радости. Но, должно быть, ему так показалось, ибо через несколько секунд эти большие черные глаза смотрели на него так холодно, как будто видели его в первый раз.

Он низко опустил голову, а когда поднял ее, то от весталки его отделяла тесная стена народа. И снова он вспомнил предостережения Кая Юлия. Теперь и он верил, что римский народ жестоко отомстил бы тому дерзновенному, который бы осмелился оскорбить весталку своей любовью. Ее жреческое достоинство так высоко ставило ее над людскими желаниями, что даже тот, кто полюбил бы ее, не мог бы открыть ей свое чувство.

По мере того как он приближался к Целийскому холму, движение рабочего дня заметно утихало. Лавки и ремесленные заведения во многих местах были заперты, люди, одетые по-праздничному, направлялись к Целимонтанским воротам, откуда улица вела к Латеранскому дворцу.

Во дворце этом некогда обитал знаменитый патрицианский род, который был помехой для императоров, как и многие другие. Нерон умертвил знаменитого своими гражданскими доблестями Плавтия Латерана, а у наследников его отобрал все имущество покойного. С тех пор роскошный дворец переходил из рук в руки до тех пор, пока Константин Великий не предназначил его для резиденции римских епископов.

Около Латеранского дворца возвышался храм, построенный в форме базилики. Перед ним расстилался квадратный открытый двор, окруженный со всех сторон портиком. Посредине двора находилась мраморная цистерна, наполненная святой водой.

Воевода остановил лошадей перед храмом, отдал меч одному из легионеров, вошел во двор и умыл руки и лицо водой из цистерны.

В христианскую святыню вели трое дверей, из которых средние были самыми большими. У каждой двери стояло по два привратника.

В преддверии, отделенном от главной части церкви высокой стеной, несколько десятков рук с мольбой протянулись к воеводе.

– Помолись за нас! – просили согрешившие, приговоренные епископом к публичному покаянию.

– Да простит вас милосердный Бог, – ответил Фабриций, быстро проходя мимо кающихся.

Едва он переступил порог главной части церкви, как опустился на колени и трижды припал лбом к каменному полу.

– Освети ее душу светом истинной веры, Господи! – шептал он, прижимая руки к груди. – А мое сердце улади ее любовью. Услышь меня, и я буду служить Тебе каждым словом и делом. Услышь меня, услышь! – повторял он с каждым разом все горячее и страстнее.

Как раз в то время в главном притворе, отделенном от боковых гигантскими колоннами, дьякон кончал чтение Евангелия от Матфея. Стоя перед аналоем, он медленно и громко читал по большой книге, объясняя кучке оглашенных наиболее трудные места.

Воевода не слышал Божьего слова. Согбенный, оторванный от всего окружающего, он весь ушел в себя.

– Не о грешном счастье я прошу Тебя, – молился он, – Твое милосердие поставило рядом с мужем жену, чтобы она делила с ним труд жизни и была бы ему верным товарищем в счастье и несчастье. Твоя благодать, о Господи, зажгла в сердце человека пламень любви, ясный светоч среди земного мрака. Ты можешь склонить ее сердце ко мне, ибо без Твоего ведения и воли не расцветает ни одно чувство. Услышь меня, Господи! Без тревоги и замедления я буду закрывать храмы язычников, неумолимый для всех, кто не восхваляет Твоего имени.

Теперь он поднял голову и слушал.

– Вы слышали, что сказано: любите ближнего твоего и возненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас; да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете вы? Не так же ли поступают и язычники? И так будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный.

Воевода слушал это повеление с широко раскрытыми глазами, тупым выражением на лице, как тот, которому говорят что-нибудь на чуждом для него языке.

Он должен любить своих врагов, он, солдат, орудие смерти? Он, вождь, для которого поражение врагов было наивысшей похвалой?

Эти слова, которые он слышал столько раз, но над значением которых никогда не задумывался, очевидно, относились не к нему.

Ему, солдату, какое дело до несогласия Божьего слова с жизнью? Это дело священников. Пусть они углубляются в сущность священных книг. Ему совершенно достаточно веры в истинного Бога...

– Господи, я буду служить Тебе с усердием божественного Феодосия, – говорил он, – но согрей душу Фаусты теплом Твоей правды и обрати ее мысли ко мне.

И снова он прикасался головой к холодному каменному полу и повторял горячо и страстно:

– Услышь меня, услышь, услышь!..

Дьякон кончил чтение Евангелия. Оглашенные толпились у входа; в литургии верных могли принимать участие только христиане, прошедшие все подготовительные ступени.

Когда оглашенные покинули церковь, воевода поднялся с колен и осмотрелся кругом.

Вдоль колонн чернелись то тут, то там на фоне старых камней кучки верных – мужчины по правую, а женщины по левую сторону. Все, сосредоточившись, ожидали начала литургии. Этих крещеных христиан было так немного, что они терялись в громадном здании. Холодом катакомб веяло в самом обширном римском храме, в котором собирались большей частью молящиеся из высших классов.

Храм действительно своей суровой простотой напоминал подземные кладбища. Его колонны не были украшены богатыми приношениями и венками, его стен не покрывали фрески и восточные ковры. Тут не было статуй и даров, присланных богам столицы наместниками покоренных областей, не было даже изображений людей, послуживших новой вере.

Все украшение Латеранской базилики составлял скромный алтарь из белого мрамора, огороженный решеткой. Тут, в глубине среднего придела, в святая святых, на том самом месте, где в языческих храмах стояло священное кресло консула или претора, сидел пожилой человек. Его окружали пресвитеры, дьяконы, поддьяконы, чтецы, священосцы, одетые так же, как и он, в обычные платья, которые носят в Риме свободные граждане. У пожилого человека не было ни тиары на голове, ни жезла в руке.

Это был Сириций⁸, римский епископ, преемник Дамазия, укротитель манихеев и присцилиан. Справа от него, в боковом приделе, за колоннами, стояли на коленях несколько сенаторов, а напротив, в левом приделе, в переносных креслах, сидели знатные женщины.

И снова удивление охватило воеводу. Направляясь в кафедральный собор, он думал найти там толпы последователей, принадлежащих к высшим классам. Ведь говорили же ему в Виенне, что закрытия языческих храмов помогают сенаторы. Правда, в древней столице государства кроме Латеранской базилики существовало еще сорок церквей, но Фабриций знал, что в этих второразрядных церквях молятся больше верные из простого класса.

Значит, истинный Бог не был в городе Ромула Богом просвещенных и сильных? Значит, как и в первые три века христианской эры, Ему поклонялись исключительно только малые?..

У алтаря началась литургия. Один из старших священников совершал таинство евхаристии.

Его молитвам не вторили трубы, флейты и цитры, их не дополняло пение хоров, обученных в знаменитых александрийских школах.

Вместо фимиама и благоуханий к алтарю возносились молитвы верных, которые с доверчивостью детей приносили Богу свои заботы и печали. Живая вера первых христиан пренебрегала внешним побуждением. Для нее было достаточно тихой, сердечной мольбы, идущей из самых скрытых тайников души.

Когда священник кончил таинство, один из дьяконов взял из его рук хлеб и вино и начал оделять ими присутствовавших. Все подходили к Господнему алтарю: прежде всех епископ, потом духовенство и светские.

В это время священник запел первую строфу псалма Давида, к нему присоединились все христиане, и монотонное пение огласило церковь.

Это, собственно, было не пение, а протяжное чтение.

Наконец епископ поднялся со своего кресла и благословил верных, а дьякон провозгласил:

– Идите с миром.

Богослужение было так же скромно, как и сама латеранская базилика: оно ничем не возбуждало страсти, не усиливало впечатления никакими искусственными средствами.

Воевода, выйдя из церкви, пошел во дворец епископа. В передней он позвал слугу и сказал ему свое имя. Ему пришлось ждать недолго. Невольник, который скрылся за занавесью, скоро вернулся и провел его через три большие залы. В четвертой, перед столом, заваленным книгами и пергаменами, в кресле сидел епископ Сириций.

Когда воевода остановился на пороге кабинета христианского епископа, на него обратились черные глаза, блеск которых удивительно выделялся на увядшем лице, покрытом морщинами, и свежий, еще молодой голос спросил:

– Ты Винфрид Фабриций?

– Да, святейший отец, – отвечал воевода, приближаясь с наклоненной головой к епископу.

– О твоей ревности к нашей новой вере, – говорил Сириций, – донес мне епископ Виеннский. Приветствую тебя в Риме своим благословением. Встань, – прибавил он, творя крестное знамение над головой воеводы, который стал перед ним на колени, – и говори, какая забота привела тебя ко мне. – Он указал ему рукой на другое кресло.

Фабриций сел и молчал. Его привели в смущение эти умные глаза, епископ смотрел на него так пытливо, что он не мог выдержать его взгляда. Он пришел к нему за советом и указаниями и хотел узнать от него, в ком из сенаторов найдет он себе деятельного помощника в

⁸ Римский епископ, 385–398 гг. Одежда христианского духовенства начала отличаться от светской только в конце V столетия.

борьбе с язычниками. Но от епископа, как и от других христиан, веяло таким достоинством, что обыденные слова замерли на устах воеводы.

– Я знаю, с каким поручением ты прибыл в Рим, – начал епископ. – Когда ты пробудешь несколько времени в Италии и присмотришься ближе к здешним отношениям, то поймешь сам, что быстрое исполнение эдикта императора Феодосия произведет в государстве большую бурю. В Константинополе и Виенне ничего не знают о состоянии умов в Италии.

Воевода с изумлением услышал это. Он, христианский епископ, не одобряет эдикта, который является высшим триумфом новой веры? Винфрид надеялся, что его намерения найдут у епископа горячую поддержку.

– Мне приказано употребить для исполнения эдикта вооруженную силу всей Италии, – отвечал он.

– Вооруженная сила Италии может отказать тебе в повиновении, потому что она состоит преимущественно из язычников. Известно тебе, что наши последователи неохотно служат в легионах? – спросил епископ.

Об этом воевода не подумал. И в самом деле! Все главные начальники легионов были язычники, как он узнал от военных епископов. Очень немного христиан занимало в Италии высшие военные должности. Но быть не может, чтобы солдаты отказались повиноваться главному начальнику. А впрочем...

– В случае надобности на помощь мне пришли бы легионы из Галлии, – заметил Фабриций.

– И началась бы снова война, и кровь ее пала бы на нас, поклоняющихся Господу милосердия и прощения, – с печалью сказал епископ.

Он медленно отвел проникновенный взор от лица воеводы и молчал, глядя в пространство. После долгого молчания он начал тихим, словно утомленным голосом:

– «Вы слышали, что сказано древним: „не убивай; кто же убьет, подлежит суду“. А Я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: „рака“ подлежит синедриону, а кто скажет: „безумный“ подлежит геенне огненной...». Зачем же вы, которые именуетесь детьми Бога добра, забываете о заповедях этого милосердного Бога? Едва Его милость вывела нас из подземных трущоб и сняла с нас печать отбросов общества, как среди нас уже появились низкие человеческие страсти, как будто Христос не смыл с нас первородный грех своей мученической смертью. Как язычники, которых мы презираем, мы жаждем обладать земными сокровищами и наслаждаться скоропреходящими удовольствиями и почестями. А ведь Господь повелел нам: не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.

И снова глаза Сириция обратились на воеводу, который слушал с опущенной головой, ибо чувствовал, что взгляд епископа проникает в его мозг и читает его мысли, как открытую книгу. А мысли воина не совпадали с мыслями священника.

Епископ продолжал более мягким голосом:

– Тот, Кто сделал то, что наша истина, с презрением отвергнутая сильными и умными, называемая долгое время верой обездоленных и темных, воссела на троне могущественнейшего государства в мире. Кто вернул нам уважение лучших людей и склонил к нам миллионы сердец – Тот, который сделал все это без братоубийственной войны, без меча и огня. Тот в скором времени и замкнет все языческие храмы, если на это будет Его святая воля, ибо Он могущественнее всех могущественных царей и князей. Не силой наших рук приобрели мы то, чем теперь обладаем, но силой нашей истины. Она, эта христианская истина, провозглашена людям самим Богом, ясная и убедительная, со временем сломит упорство последних римлян, как сломила предубеждения их предков. В течение ста лет и в городе Ромула погаснут наве-

гда огни язычников, как погасли они везде в восточных провинциях государства. Языческие храмы закроются сами, когда не будет рук, желающих отпирать их, а этих рук у римлян становится с каждым годом все меньше. Дозволим же традициям великого народа умирать постепенно, без страданий мученической смерти.

– Наши мученики еще не отомщены, – прервал воевода.

Епископ нетерпеливо повернулся в кресле.

– В Законе, – проговорил он живее, более громко, – вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя исполнять с ним одно поприще, исполняй с ним два. Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся...» Покорные этим приказаниям наши предки пересилили издевательство врагов истинного Бога. Почему же вы, молодые, которым нет надобности бороться за право молиться открыто, хотите своей стремительностью испортить дело наших предшественников? До сих пор нашу совесть не запятнала ни единая капля крови, пролитая по ненависти. Пусть же эта христианская совесть останется чистой. Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божиими нарекутся, – сказал Господь.

Он остановился, как будто ожидая ответа, но воевода все молчал, и епископ заговорил снова:

– Не язычники нам теперь страшны, их суеверия принадлежат уже невозвратному прошлому. Когда мы не будем их раздражать, они сами скоро откажутся от своих заблуждений. Ведь на нашей стороне правительство – ключ от всяких почестей и наград. Более язычников доброй славе христиан вредят те из нашей среды, гордый ум которых пытается исправить дело нашего Господа Иисуса Христа. И вот против еретиков пусть обратится весь пыл твоей молодости. Их греховные споры и ссоры дают нашим противникам оружие в руки, подвергают осмеянию истинную веру.

Наступило продолжительное молчание. Епископ снова смотрел в пространство, как бы забыв о существовании воеводы, а тот ничего не мог ответить. Солдат не понимал доброты священника: юноша называл слабостью снисходительность старца, но светский человек не мог возражать епископу.

Фабриций поднялся с кресла и преклонил колени.

– Иди с миром, сын мой, – сказал епископ, кладя иссохшие, желтые руки на его голову, – и помни, что Господь только миротворцев называл сынами Божиими. Пусть твой меч не проливает без надобности кровь, если ты сам не хочешь погибнуть от меча.

Воевода свободно вздохнул, лишь выйдя из дворца. У него было состояние птицы, выпущенной из клетки. Пытливые глаза епископа сковывали его члены... Нет, Сириций не убедил его... Ему шадить язычников, врагов истинного Бога? Не любит Бога тот, кто позволяет насмехаться над Ним...

Воевода позвал к себе одного из солдат.

– Я жду твоего приказанья, господин, – отозвался старый аллеман, прибывший в Рим из Виенны вместе со своим господином.

– Мне нужен расторопный человек, знающий всю подноготную Рима, – сказал воевода. – Этот человек должен знать все, что делается у язычников, должен иметь длинные уши и лисьи глаза. Ты понял меня, старик?

– Такой человек скоро явится к твоим услугам, господин, – отвечал солдат.

– Домой! – крикнул воевода и вскочил в колесницу.

«Нет, я не могу шадить язычников... – повторял он про себя. – Мне невозможно быть снисходительным к идолопоклонникам. А однако... Сириций говорил о любви к врагам, а он наивысший судья в делах христианской веры, наместник святого Петра на земле...»

Неужели он, сын варвара, не понимает основ учения Христа?..

V

На девятый день после свадьбы дочери Симмаха с молодым Флавианом Рим гудел, как лес в жаркий июльский день.

По всем улицам, с востока, запада, севера и юга, с самого утра наплывали такие массы людей, что до края залили столицу в течение нескольких часов. Повсюду виднелись носилки и экипажи, покрытые пылью дальней дороги; шли конные и пешие, сенаторы и всадники, горожане и поселяне.

Местная стража, стоявшая на карауле у ворот, с удивлением переглядывалась между собой. Даже прошлогодний триумф Феодосия не привлек такой массы любопытных. А между ними были те, которых стража никогда не встречала в стенах Рима. Прибывали люди, одетые в старомодные туники, вышедшие давно из употребления, едущие в колесницах времен Константина. Прибывали они, по-видимому, из таких отдаленных углов Италии, где не особенно заботятся о покрое платья и конструкции экипажей.

Уже около полудня в гостиницах не хватило мест для людей, коней и мулов. У кого не было знакомых в столице, тот разбивал палатку под открытым небом, на площадях перед храмами, на рынках и на Марсовом поле.

На улицах стоял шум, который проникал в самые тесные закоулки. Из лавок, мастерских и домов выбегали римляне и здоровались с незнакомыми им прибывшими людьми так сердечно, как будто их связывала давнишняя дружба.

– Привет вам! Привет вам! – кричали люди и засыпали друг друга вопросами, как бывает при встрече хороших знакомых после долгой разлуки.

Невольники выносили на улицы столы; женщины угощали гостей подогретым вином, колбасами, жареными бобами, хлебом и овощами; дети кормили сеном лошадей и мулов.

Весь город превратился в одну громадную гостиницу: Рим принимал провинцию.

Время от времени на площадях и рынках показывались большие телеги в сопровождении невольников в багряных, затканых золотом туниках. Они двигались медленно, осторожно, останавливаясь при больших скоплениях народа: это консул Аврелий Симмах отворил свои винные склады и кладовые, не жалея старых вин и дорогих лакомств для прибывших.

По мере того как осушались огромные амфоры, гул голосов рос и сердца сближались.

Римские жители начали целоваться с гостями, которых видели в первый раз в жизни. Какое-то общее предчувствие радости или печали соединяло людей разного возраста, разных сословий и занятий и спланивало их в одну семью.

С рынка на рынок, с площади на площадь, с улицы на улицу переливался однообразный шум смешанных голосов, издавлек похожий на жужжание лесных мух, с наслаждением купающихся в горячих волнах воздуха, напоенного ароматом смолы.

Но не все римляне принимали участие в этом приветствии провинции. Там, где на внешней стене дома чернел знак креста, окруженного лавровым венком, собирались люди, которые напряженно следили за необычным оживлением города. Гости не обнимались и не целовались с христианами.

Казалось, что вся Италия двинулась в Рим, чтобы доказать галилеянам, что не они одни имеют права на город Ромула.

И действительно, если бы вся эта масса, наплывавшая беспрерывно через все ворота, бросилась на врагов старой римской веры, то назавтра христианские церкви были бы пусты.

Это хорошо понял Винфрид Фабриций, который с напряженным вниманием следил за движением язычников. Узнав, что Симмах и Флавиан разослали по всей стране гонцов с письмами к сенаторам, жрецам и декурионам, он отгадал намерения главарей староримских сто-

ронников. Они хотели в день погребения жертв, задавленных во время уличных беспорядков, поразить христиан громадным числом правоверных римлян.

Воевода не сомневался, что не все из наиболее ревностных язычников явятся на вызов префекта и консула, и никак не ожидал такого огромного собрания. Не зная положения дел в Италии, он думал, что за идолопоклонство стоит только одна столица, враждебно относящаяся к христианскому правительству, которое лишило ее прежнего блеска.

Фабриций, проезжая верхом по улицам, убедился, что в Виенне царит ошибочное представление об истинном положении дел в Италии. То была не христианская страна, терроризированная горстью сенаторов, как его убеждали при дворе Валентиниана, – здесь старые боги еще господствовали над сердцами, иначе люди не подвергали бы себя стольким лишениям единственно лишь для того, чтобы выказать прочность своих убеждений.

Предводитель палатинского отряда, сопровождавший начальника в поездке по городу, распознавал между прибывшими жителей провинций, лежащих на окраинах италийского епископства. На площадях и рынках расположились венеты и лигийцы, рыбаки из Региума и колонисты из Мельпа. Эти язычники шли днем и ночью для того, чтобы поспеть к назначенному дню. Получив известие о похоронах, они тотчас же бросили семьи и занятия и пустились в дорогу, послушные призыву столицы.

Многие из них, по-видимому, ясно сознавали опасность минуты – воевода замечал под тогами и плащами ножи и мечи. Не с мирным настроением стеклись в Рим идолопоклонники в таком числе. Об этом говорили их угрожающие взгляды, с которыми Фабриций сталкивался везде, где собиралась более значительная толпа.

Его, солдата, не пугали эти ножи, мечи и взгляды. Если бы дело дошло до свалки, он проложил бы себе дорогу среди этого собрания. Он знал это. Но громадная волна язычников с бешенством раздраженного зверя обрушилась бы тогда на недругов старых богов и разнесла бы их в прах.

Уполномоченный христианского императора не мог взять на себя ответственность за бесцельную резню, так как его первой обязанностью было охранять последователей истинного Бога.

Винфрид Фабриций принял это во внимание и, повернув к Палатину, подъехал к префектуре, соскочил с коня и отдал его одному из солдат, стоявших на карауле перед дворцом.

– Воевода Италии просит об аудиенции, – сказал он глашатаю в передней. – Мое дело не терпит замедления.

Невольник, несмотря на такое заявление, не спешил с докладом. Не трогаясь с места, он сказал небрежно:

– Пресветлый префект разбирает теперь спор между городами Равенной и Сииной. Не знаю, может ли он сегодня принять твою знаменитость.

– Делай, что тебе говорят! – повелительно произнес воевода.

Глашатай пожал плечами.

– Мне нельзя прерывать суд пресветлого префекта, – ответил он.

И, прислонившись к стене, он закинул ногу на ногу.

Воевода побледнел.

Этот негодяй с бесстыдным лицом холопа относился к нему с видимым неуважением. И он, несомненно, был также идолопоклонник и ненавидел представителя христианского правительства.

Винфрид Фабриций видел вокруг себя многозначительные улыбки. Над ним издевались ликторы и рабы префекта.

Тогда он схватил глашатая за ворот и крикнул, проталкивая его в залу:

– Делай, что тебе приказывают, презренный червь!

С уст челяди мгновенно исчезли иронические улыбки. Ликторы и невольники выстроились, как солдаты перед начальником.

Из залы доносился громкий голос префекта. Он делал кому-то выговор.

Глашатай тотчас же возвратился и, бросив исподлобья на воеводу взгляд побитой собаки, приподнял перед ним занавеску.

Никوماх Флавиан действительно разбирал спор между двумя соседними городами, но дело было уже окончено.

Когда воевода появился в зале, декурионы Равенны и Сиины выходили из нее.

Префект восседал на священном кресле, окруженный, как всегда, чиновниками. Увидев Фабриция, он сказал:

– Твоя знаменитость приказывает докладывать о себе особым способом.

– Потому что особым способом слуги твоей пре-светлости встречают послов императора, – отвечал воевода.

– Глашатай будет наказан за дерзость, – сказал Флавиан, – а все-таки ты, воевода, не забывай, что тот оскорбляет божественного и вечного императора, кто нетерпеливо врывается к его непосредственному заместителю. Твоя горячность объясняется только молодостью.

Он поправил полы тоги, оперся правой рукой о подлокотник кресла и добавил официальным тоном:

– Глашатай доложил мне, что твое дело не терпит замедления.

– Мое дело касается только префекта претории, – ответил Фабриций.

Флавиан понял, что христианин не хочет говорить при свидетелях, и приказал писарям и ликторам удалиться. Воевода приблизился к нему и сказал:

– Слуга цезаря пришел к слуге цезаря.

Последние два слова он подчеркнул многозначительным взглядом.

Несколько времени оба сановника пристально смотрели друг на друга.

Холодный взгляд префекта без тревоги воспринял угрозу в пламенных очах воеводы.

– Я просил преславного Юлия Страбона, – сказал Фабриций после продолжительного молчания, – чтобы он отговорил твою пресветлость от погребения несчастных, которые пали жертвой уличных беспорядков. Я полагал, что слуга цезаря поймет резоны моей просьбы.

И снова он подчеркнул выражение «слуга цезаря» красноречивым взглядом.

На щеках Флавиана выступил легкий румянец. Фабриций второй раз уже напоминает ему его обязанности, а он не мог заставить молчать этого молокососа: он чувствует себя виновным перед представителем христианского правительства.

Устраивая вместе с Симмахом языческую демонстрацию, он действительно тяжело провинился как цезарский префект. Он терпеливо слушал, что будет дальше.

А Фабриций не щадил его римских чувств. Возвысив голос, он продолжал:

– Слуга цезаря должен был понять, что, не желая этого погребения, я отгадал волю божественного и вечного императора. Умышленно раздражая страсти толпы, вы тем отдалаете выполнение эдикта, которого не поколеблет никакая сила на земле. Вы своим неразумным сопротивлением принуждаете меня к принятию чрезвычайных мер.

Он вынул из-за пурпурного пояса пергамент и подал его префекту.

– Это собственноручное письмо нашего государя Валентиниана объяснит твоей пресветлости, что я прибыл в Рим с обширными полномочиями. В случае надобности они предоставляют в мое распоряжение всех сановников Италии.

Но Флавиан отклонил рукой документ, который принижал его власть.

– Правду твоих слов подтверждает твое поведение, юноша, – отвечал он холодным голосом. – Если бы я не верил твоим словам, то не слушал бы их так терпеливо.

Голова его поникла, он искал выхода из западни, в которой очутился так неожиданно. Ему нельзя было ни увлечься, ни позабыть ни на минуту, что он говорит с врагом старых богов;

он знал, что какое-нибудь его неосторожное слово с первым же курьером пойдет в Виенну и будет с восторгом встречено зарящимися на его должность. А он теперь был так необходим в Риме.

Всякого другого сановника он просто не стал бы слушать, но с Фабрицием дело было иное. Положим, на служебной лестнице он стоит несколькими ступенями выше Фабриция, но в присутствии воеводы его величие теряет весь свой блеск. Гордый солдат, даже и не снабженный особыми полномочиями цезаря, и так не подлежал его власти.

Самодержавие цезарей, постоянно опасаясь восстаний наместников, отделило военную власть от гражданской, расстроив цельность правительственного механизма старого Рима. Воевода отвечал за свои действия перед главным вождем западной префектуры, и, пока Арбогаст не сдержит его шагов, его христианское рвение может расстроить все планы римских идолопоклонников.

Следовательно, нужно смягчить его, усыпить его чуткость.

– Мне известно, что и твоя вера, – начал Флавиан, – не запрещает почитать умерших. И вы торжественно хороните своих покойников, ставите над ними часовни, уважаете их могилы.

– Великий Феодосий не назначил бы тебя на такую высокую должность, – отвечал Фабриций, – если бы ты не умел вникать в чужие мысли. Ты отвечаешь мне, как будто не понимаешь меня, хотя так же хорошо, как и я, знаешь, что эти похороны не обычный религиозный обряд. Это явный бунт, это коварно придуманное пренебрежение к священным особам божественных и вечных императоров. Зачем ты стараешься сбить меня с пути долга? Я слышал повсюду, что Никомах Флавиан – человек честный.

И презрительная улыбка пробежала по лицу воеводы.

Префект заметил этот знак пренебрежения. Фабриций отгадал в его словах ловушку и презрительно отнесся к ней. Новый человек, сын варвара, был благороднее его, патриция...

И снова Флавиан наклонил голову, но на этот раз чтобы скрыть горячий румянец, который залил его лицо огнем стыда.

Его мучил этот разговор с христианином, его оскорблял этот равнодушный тон, однако он должен был сдерживать себя. От того, что сейчас решит начальник вооруженной силы Италии, зависит будущее Рима. Если бы он захотел воспрепятствовать погребению, то ускорил бы течение событий. Разъяренная толпа, без сомнения, бросилась бы на войско, и тогда Феодосий, несомненно, прислал бы своих готов и растоптал бы сторонников старого порядка, прежде чем они успели бы приготовиться к обороне.

Флавиан быстро оценил положение вещей. Он любил правду, но больше правды любил будущее Рима, и ради своей возлюбленной мысли он переносил терпеливо оскорбления христианина и искал выхода.

Необходимо было ограничить рвение этого усердного слуги цезаря...

– Твоя молодость видит бурю там, где светит солнце погожего дня, – сказал префект. – В Риме все похороны бывают торжественны, в чем ты убедишься сам, когда побудешь дольше с нами.

– На обычные похороны не стекается вся Италия, – отвечал Фабриций.

– Италия всегда спешит в столицу, когда ожидает увидеть необычное зрелище.

– Все многочисленные сборища вызывают беспорядки, конца которых нельзя предвидеть.

– В твоей власти предупредить эти беспорядки.

– Ты не имеешь права требовать от меня, чтобы я служил делу богов, которых я не признаю.

– Но я имею право требовать от тебя, слуги цезаря, чтобы ты оберегал покой божественного и вечного императора.

Воевода с удивлением посмотрел на префекта. Он, префект, напоминает ему обязанности слуги цезаря, он, предводитель мятежников, противящихся воле императора.

Фабриций почувал новую ловушку в словах префекта и молчал.

А префект продолжал:

– Враждебный вид войска, несомненно, возбудил бы страсти толпы, которая, как ты сам убедился, нахлынула в Рим и все прибывала, что незначительный гарнизон города потерпел бы несомненное поражение в уличном бою, за что наш божественный государь не поблагодарил бы тебя. Для спокойствия правительства нужно избегать всякого столкновения войска с народом, потому что результаты таких столкновений бывают не одинаковы. Не один уже трон превратился в прах, низринутый яростью черни.

Воевода понял, куда метит префект. Он хотел напугать его ответственностью за неосторожный поступок, несчастный исход которого мог ослабить значение христианского правительства. Винфрид сам знал очень хорошо, что римский гарнизон численностью в три тысячи мечей, не выдержал бы натиска толпы, которая залила сегодня город, особенно если эта толпа принесла с собой оружие и ненависть к последователям Христа.

Но зачем префект обращает его внимание на затруднительность положения? Всякий другой, только не он, имел право делать напоминания и предостережения. Это затруднительное положение было делом его же рук.

– Забота о спокойствии божественного и вечного государя и привела меня к тебе, пресветлый префект, – надменно отвечал Фабриций. – Я ожидал у тебя, слуги цезаря, найти помощь, а нашел предательство, прикрытое змеиной хитростью. Если бы ты заботился о спокойствии нашего государя, то тотчас же приказал бы пришельцам оставить город, запретил бы торжественно погребать тех безумцев, которые понесли только заслуженную кару за ненависть к истинному Богу. Но ты этого не делаешь... Напрасно ты стараешься обмануть мою бдительность своим коварным словом...

Флавиан повернулся в кресле. Дерзость христианина начала переполнять меру его терпения. Этот молокосос все время осуждает и разбирает его поступки.

– Если мои похороны, которых ты так неосновательно опасаясь, – отвечал префект, – поставят Виеннский двор в затруднительное положение, то отвечать за это несчастье будешь ты. Что же касается меня, то я сделал все, чтобы не возникли последствия, неблагоприятные для правительства. Городская стража закроет центральные улицы города и не допустит в процессию нарушителей спокойствия. Достаточно обезвредить враждующие стороны, чтобы предупредить беспорядки. Пусть и твои солдаты поудержат пыл твоих единомышленников, и завтра ты возьмешь назад свои недоверчивые слова, которыми ты оскорбляешь меня сегодня. Прибывшие из провинций, отдав честь умершим, спокойно разойдутся по домам, унося с собой впечатление самого обыкновенного зрелища.

Воевода долго смотрел на префекта, пронизывая его пытливым взглядом. Он понял, что в случае беспорядков язычники свалят на христиан ответственность за пролитую кровь.

– Ваша хитрость победила меня на этот раз, – сказал Фабриций, – но я надеюсь, что это больше уже не повторится. Вы тщетно противитесь свету истинной веры. Боги ваши должны пасть, потому что так решено там, где никакие предначертания не отменяются никогда.

Он показал рукой на небо, просвечивающее через отверстие в крыше, и выбежал из залы. Флавиан, согбенный, измученный, как бы отдыхающий от чрезмерной работы, посидел еще несколько минут в сенаторском кресле, потом с трудом поднялся и вздохнул всей грудью.

Ложь тяготила его римскую душу.

– Самонадеянно говорит твоя вера, галилеянин, – промолвил он вполголоса, сходя по ступеням трона, – но и наши боги не забыли еще, что они властвовали над миром в течение ряда веков. Юпитер Капитолийский до сих пор держит еще в руке грома и молнию...

Воевода так стремительно вышел из префектуры, что солдаты не успели отдать ему обычные военные почести. Прежде чем они хватились, он вскочил уже на лошадь и погнал ее галопом вдоль цезарских дворцов на другой конец Палатинского холма. Там, в бывшем доме императора Августа, напротив храма Аполлона, находилась главная квартира вождя Италии. Префект бросил ему укор в самонадеянности, а он всеми силами воли подавлял в себе гнев и старался вернуться к покою, которого в нем не было.

Недавний римлянин, сын аллемана и испанки, едва тронутый цивилизацией, воевода свирепел, как осенняя буря, когда давал волю своему темпераменту.

Если бы хотел он быть несдержанным, то задрожал бы перед ним этот холодный, коварный сенатор, притворяющийся заботливым слугой императора. Он обратился к префекту в надежде отклонить его от устройства похорон, а хитрый язычник сделал его послушным орудием идолопоклонников. Иного выхода не было. Не желая подвергать войска императора испытанию в битве с чернью, он должен охранять врагов истинного Бога от справедливого гнева христиан. В больших городах немного нужно для того, чтобы раздуть пламя ненависти... Достаточно нескольких бранных слов, горсти брошенных камней, какого-нибудь неосторожного восклицания... А христианское правительство не должно терять доверие в глазах толпы, если оно хочет осуществить свои намерения. Воевода все это взвесил. Он знал, что на этот раз должен уступить хитрости язычников, но это сознание бессилия унижало его солдатскую честь...

Чтобы укротить свой гнев, он ударил ногами коня по бокам. Испуганное животное встало на дыбы, вскидывая задними ногами. Покрытый пеной и пылью, храпя и фыркая, великолепный испанский жеребец остановился перед домом Августа. Четверо пеших солдат с начальными буквами имени Иисуса Христа на шлемах стояли на страже перед портиком, на котором развешены штандарт с портретами Феодосия и Валентиниана.

– Выводить коня и вытереть его хорошенько, – сказал воевода привратнику.

В передней его окружили несколько невольников. Один снял с него плащ, другой отстегнул меч, третий развязал пурпурный пояс, четвертый взял шлем.

Воевода пробежал несколько комнат и остановился в зале, которая некогда была столовой Августа. Здесь было несколько столов, и за всеми сидели воины.

– Знаменосец Лициний! – позвал воевода.

– Что прикажешь, воевода? – послышался голос из угла.

– Сейчас послать приказ в лагерь!

Знаменосец подошел с восковой дощечкой в руках.

– Тотчас же после захода солнца, – диктовал воевода, – пусть когорты замкнут все центральные улицы и не допустят туда христиан. Если какой нарушитель порядка захотел бы прорваться сквозь цепь, связать его и держать до тех пор, пока не окончатся похороны. Оружие употреблять только в крайнем случае. Конные когорты расставить на рынках и площадях перед храмами. Первая когорта будет вместе со мной сопровождать процессию. Если кто из солдат даст повод к уличной битве, тот лишится права на цезарскую награду, назначенную для ветеранов.

Подписав приказ, воевода удалился в свой кабинет. Как в приемной зале, так и здесь рука христиан изгладила следы языческого прошлого. На одной из стен чернел на белом фоне большой крест, окруженный рыбами и якорями.

Воевода сел к столу и взял большую книгу. Это был список легионов, расположенных в Италии.

По мере того, как он читал, его лицо покрывалось тенью печали. Уже в третий раз он пересматривал списки трибунов и сотников, отыскивая среди них своих единоверцев. Но напрасно он переворачивал листы. Около всех фамилий стояла отметка, означающая «испо-

ведущий народную веру». Только трое знаменосцев и один сотник принадлежали к церкви Христовой.

Воевода изумился такой неосторожности императора. Нужно было римские легионы послать на западные или восточные границы государства, а Италию отдать под надзор аллеманам; хотя они тоже язычники, но в случае надобности не пощадят сторонников старого порядка, потому что служат только за деньги и готовы бить того, кого им прикажут.

Когда он размышлял об этом, в комнату вошел тот самый солдат, которому он в воскресенье после обедни поручил отыскать расторопного человека.

Это был старик среднего роста, крепкий, приземистый, с толстой шеей. Долгие годы покрыли сединой его волосы и бороду, но не согнали здорового румянца с его загорелого лица.

– Это ты, Теодорих? – спросил воевода более ласковым, чем всегда, голосом. – Ты хочешь со мной говорить?

Он ласково смотрел на старика. Видимо, этот простой легионер был близок его сердцу.

– С самого утра я вижу заботу на челе моего орла, – сказал Теодорих, свободно подходя к столу. – Старый слуга прежде знал, когда его господину было больно. Может быть, какой-нибудь язычник оскорбил твою знаменитость, может, нужно, чтобы Теодорих попробовал еще, сумеет ли он разбить кулаком голову нахала. Говори, господин!

– Сколько раз я уже просил тебя, чтобы ты принял святое крещение. Тебе, как я вижу, нужна милость нашего Господа Иисуса Христа, чтобы ты окончательно забыл о языческом прошлом. Обещай мне, старик, что ты окрестишься в эту зиму.

Теодорих молча почесал в голове.

– Зачем ты упорствуешь? – настаивал воевода. – Внушали же тебе наши священники, что святая вода смывает с души человека его прежние грехи и гасит в его сердце языческие наклонности и страсти.

– Мне еще будет время принять крещение, – отвечал солдат, – когда смерть схватит меня за горло. Омытый от грехов перед самой кончиной, чистый и невинный, предстану я перед милосердным Агнцем и посягну без страха на небесный венец. Если бы я окрестился сейчас, то мог бы много нагрешить и пришел бы в царство Доброго Пастыря грязный, как баран, который валялся в луже.

– Зачем же тебе грешить?

– А как будто человек может воздержаться от греха? Придется кому-нибудь переломать ребра, разбить голову, выпустить кишки... Никому не известно, что может встретиться благочестивому христианину. И вино веселит иногда сердце человека и согревает его кости, а наши священники кричат на все: грех, грех! Пусть грех будет грехом, когда его смоет святая вода.

Воевода слушал с улыбкой на губах. Не один только Теодорих думал так. Большая часть христиан четвертого столетия откладывала крещение до последней минуты, чтобы предстать на суд Божий незапятнанными. Даже императоры совершали этот обряд на смертном одре.

– Делай, как хочешь, – ответил воевода, – но только не посещай языческих храмов, ибо они приют злых демонов. Эти коварные духи могут околдовать тебя, и тогда ты вместе со мной не войдешь в Царство Небесное.

Теодорих перекрестился.

– Я проложил бы себе дорогу кулаками, – сказал он. – Что мне делать на том свете без моего сокола.

– А если бы тебе не помогли твои кулаки? – спросил, смеясь, воевода.

– Тогда бы перед вратами Небесного Царства я рыдал и умолял до тех пор, пока Добрый Пастырь не сжалился бы надо мной. Он добрый, милосердный, Он не может смотреть на слезы несчастных.

Воевода ласково посмотрел на солдата. Мог ли он сердиться на старого слугу, привязанность которого он испытал не раз?

Теодорих, свободный аллеман, некогда товарищ его отца, носил его на руках, учил ездить верхом, бросать копье, владеть оружием. И в мирное и в военное время он оберегал его с преданностью и верностью пса. Он бросил внуков, детей и землю и пошел за ним в Рим.

– И я бы умолял Доброго Пастыря до тех пор, пока Он не отворил бы перед тобой врата Царства Небесного, – отвечал воевода мягким голосом, глядя по голове старик, который припал к его коленям. – Только не заводи ты в Риме напрасных ссор. Для твоих кулаков еще найдется довольно работы. Но сперва отыщи мне такого человека, о котором я тебе говорил.

– Эта лисица как раз ждет твоих приказаний, – сказал Теодорих. – Кажется, у него хороший нюх, ибо боги отметили на его лице хитрость и вероломство.

– Бог, мой старик! – поправил воевода.

– Разве наш Добрый Пастырь мог бы сотворить такого негодяя, который за деньги хочет продать своего господина? Такие рождаются только от семени языческих демонов.

– Мне нужен человек, который знал бы все, что делается у язычников.

– Эта лисица служит у префекта претории и называется Симонид. Его породили греческая земля и греческая подлость. Если мой сокол хорошо ему заплатит, то будет знать все, что ему нужно.

Теодорих вышел и скоро вернулся с переводчиком префекта.

Симонид действительно производил впечатление лисицы. На ходу он сгибал колени, ступал тихо, осторожно, как бы подкрадываясь к намеченной жертве. Его маленькие косые глаза бросали исподлобья быстрые, боязливые взгляды, на бороде торчали редкие волосы.

Лицо воеводы, такое мягкое во время разговора с Теодорихом, теперь приняло суровое выражение.

– Ты знаешь, что мне от тебя нужно?

– Твоя святая христианская ревность хочет знать все, что делается у язычников.

– Можешь ли ты доставлять мне необходимые сведения?

Симонид колебался минуту, прежде чем ответить. Наконец он сказал с хитрой улыбкой:

– Если бы я жил во дворце императора Августа, как и ты, пресветлейший господин, то и в таком случае не рискнул бы навлечь на себя гнев Никомаха Флавиана. Это человек могучий и суровый.

Воевода догадался, в чем дело, и достал из туники кошелек, полный золота. Маленькие глазки Симонида блеснули, как у хищного зверя, когда он приближается к корму. Он весь сгорбился и, облизываясь, протянул руку, но воевода в это время спрятал кошелек.

– Без дела не будет тебе и награды, – сказал он. – Сперва известия, потом деньги.

– Всякое дело требует издержек, – заметил Симонид.

– Я хочу сперва убедиться, будет ли мне польза от твоей ловкости.

– Приказывай, господин.

– Если ты сообщишь мне, какие сенаторы собираются у префекта и о чем они там совещаются, то кошелек перейдет в твои руки.

– Этот кошелек уже принадлежит мне, – ответил Симонид.

– Я жду сведений, но помни, что я буду проверять их, и если ты будешь лгать, то с тобой расправится Теодорих.

Старый аллеман проворчал что-то под нос, и от этого ворчания дрожь пробежала по телу грека. Так медведь выражает свое недовольство, когда его преследуют собаки. Симонид скорчился, согнулся и стал пятиться к стене.

– Будет, как ты приказал, господин, – произнес он дрожащим голосом.

– Ты можешь заработать еще другой кошелек с солидами, – сказал воевода.

Грек насторожил уши.

– Ты сообщишь мне в точности, как распределяется день в атриуме Весты. Я хочу знать, в какое время весталки совершают свою службу, кто из них стережет священный огонь днем и кто ночью, как и когда они сменяются.

Симонид слушал с удивлением. Его глаза горели любопытством, лоб наморщился. Было видно, что он старается разгадать цель этого поручения. Могли ли весталки интересовать христианина?.. А если...

И он незаметно улыбнулся.

– Ворота атриума Весты не отворяются для таких бедняков, как я, – отвечал он, внимательно всматриваясь исподлобья в лицо воеводы. – Если бы твоя пресветлость захотела указать ту из весталок, которая тебе нужна...

Воевода понял намерение грека и резко прервал его:

– Уж это твое дело проникать всюду, куда тебе прикажут, если только ты хочешь заработать другой кошелек. А теперь можешь идти. Старайся заслужить мое расположение.

Симонид сделал поклон и, пятась задом, вышел из кабинета.

– Прикажи мне подать обед, – сказал воевода, когда остался вдвоем с Теодорихом.

Его обед занимал немного времени. Как все люди живого характера, он ел скоро, не наслаждаясь кушаньями. Привыкший к неудобствам и непостоянствам лагерной жизни, он не обращал внимания на качество пищи, которая для него являлась только средством утоления голода. Довольно часто, когда его занимали важные дела, он даже не знал, что ему и подавала прислуга.

И сегодня он также спешил с обедом. Это сборище язычников отравило первые дни его пребывания в Риме. В самом начале своей деятельности он встретился с препятствием, на которое не рассчитывал.

Свидетель торжества христианства, он не отличался уже уступчивостью первых последователей Христа, которые искали в новой вере утешения и забвения. Для него учение Христа не было единственным бальзамом для душевных и общественных ран. Потомок свободного рода, сын сановника из свиты цезаря, внук и правнук начальников аллеманского племени, он не испытывал на себе тяжести учреждений старого света, столь ужасных для слабых и убогих; новая же цивилизация еще не успела отравить его сердце скептицизмом.

Он внес в христианство первобытную духовную и физическую силу варварских народов, не имеющую ничего общего с положением обездоленных и отчаявшихся во всем членов греко-римского общества, которые без протеста переносили гонение от людей существующего порядка. Присоединившись к учению Христа со всей горячностью и упованием девственной натуры, он жаждал служить Богу, которого горячо полюбил, служил деятельно, не обращая внимания на средства и пути. Бог, избранный им, должен повелевать всем миром, а кто противится поставленному Им правительству, тот его личный враг.

Кровь матери-испанки добавила к его живой, искренней вере примесь фанатизма, который усилил в нем ненависть к защитникам римской религии. Он чувствовал и понимал, что, пока традиции прошлого беспрепятственно будут блуждать по улицам древней столицы государства, до тех пор христианство не сломит вампира язычников. И вдруг, точно на смех, именно ему и пришлось оберегать спокойствие процессии, устроенной римскими патриотами с целью возбуждения страстей в народе. К этому принуждало его положение: он был не только христианином, но и верным слугой императора. Преждевременная горячность могла бы вызвать отчаянное восстание, которое Виеннскому двору, занятому войной с франками, причинило бы много неприятностей.

За обедом воевода еще раз мысленно оценил положение в Риме и оправдывался перед собой, перед своим христианским усердием необходимостью поступать осторожно. Он искал иного выхода, но его не было.

Он тихо выругался, когда Теодорих доложил ему, что первая когорта ждет его приказаний. Привесив меч, он надел на тунику кольчугу, на голову золоченый шлем с монограммой Христа, набросил на плечи шелковый греческий плащ и вышел на двор. Его приветствовал стук оружия, но он не ответил на приветствие, молча сел на коня и посмотрел на небо. Может, сам Бог воспрепятствует этому позорному зрелищу, может, Он пошлет сильный дождь и охладит греховный пыл идолопоклонников.

Но темной синевы вечернего неба не омрачало ни малейшее облачко. Даже запад был чист от серой мглы.

Над городом царила тишина погожей ночи. Ничто не предвещало быстрой перемены погоды.

Воевода нетерпеливой рукой рванул коня и направил его в сторону Триумфальной улицы. Солдаты двинулись за ним в порядке – четырьмя шеренгами.

Бедняки, погибшие во время уличных беспорядков, в самых дерзновенных снах не мечтали о тех почестях, которые должны были быть отданы им после смерти. Сам консул занес в книги храма Венеры Либитинской⁹ их никому не известные имена; бальзамировали их известные врачи; в дорогие платья убрали городские невольники; знаменитые скульпторы сняли с их лиц посмертные маски. Убогих ремесленников положили на ложе из слоновой кости, покрытое восточными коврами, и выставили на публичное поклонение в амфитеатре Флавиев. Молодежь самых лучших фамилий стояла в течение семи дней в почетном карауле у их останков, богатейшие и знаменитейшие римские люди приходили оказать им почет и возлагали гражданские венки.

⁹ В Риме списки умерших вел служитель храма Венеры Либитинской.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.